

TARTU ÜLIKOOL
VENE KEELE ÕPPETOOL
ТАРТУСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА

ТРУДЫ ПО РУССКОЙ И
СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
ЛИНГВИСТИКА

Новая серия
I

ТАРТУ 1997

ТРУДЫ ПО РУССКОЙ И СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
ЛИНГВИСТИКА

TARTU ÜLIKOOL
VENE KEELE ÕRPETOOL
ТАРТУСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА

ТРУДЫ ПО РУССКОЙ И
СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
ЛИНГВИСТИКА

Новая серия

I



TARTU ÜLIKOOLI
KIRJASTUS

Редколлегия: Е. Костанди, Ю. Кудрявцев, И. Кюльмоя
(ответственный редактор), С. Мельцер
Редакторы тома: Ю. Кудрявцев, И. Кюльмоя
Технический редактор тома: К. Кару
Компьютерный набор: Л. Вашанова

© Статьи и публикации: авторы, 1997
© Составление: кафедра русского языка Тартуского
университета, 1997

Tartu Ülikooli Kirjastus/Tartu University Press
Tiigi 78, Tartu, EE-2400
Eesti/Estonia

Order no. 230

ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Предлагаемый вниманию читателей том открывает новую серию изданий кафедры русского языка Тартуского университета. Серия “Труды по русской и славянской филологии. Лингвистика” продолжает выходившие в 1958–1990 гг. выпуски “Ученых записок Тартуского университета. Труды по русской и славянской филологии” (1965–1980 гг. “Труды по русской и славянской филологии. Серия лингвистическая”, с 1980 по 1990 г. — “Труды по русской и славянской филологии” с тематическим заглавием).

Первый том новой серии коллеги и ученики посвящают семидесятилетию профессора-эмеритуса Тартуского университета, доктора филологических наук

Михаила Алексеевича Шелякина,

много лет руководившего кафедрой русского языка и сформировавшего ее нынешний коллектив и направления научных исследований.

ОГЛАВЛЕНИЕ

М. А. Шелякин. Опыт функционального описания субстантивного именительного падежа русского языка...	9
Б. Гаспаров. Употребление кратких и полных форм прилагательного.....	38
К. Кару. Условные конструкции с герундивом в эстонском языке и их русские эквиваленты	71
Н. А. Козинцева. Трехчленный пассив в газетном тексте	81
Е. Костанди. Синтаксическая связь как средство реализации коммуникативно-прагматической установки	94
Ю. С. Кудрявцев. Еще о напряженных редуцированных гласных	105
А. М. Кузнецов. Прилагательное и пропозиция	115
И. П. Кюльмоя. Наблюдения над засвидетельствован- ностью в русском языке	122
С. Мельцер. Выражение посессивности в относительных придаточных предложениях	135
А. Пихлак. К вопросу о “двойном супрессиве”	144
Е. Н. Ремчукова. Понятие транспозиции, ее разновидности и функции в современном русском языке	154
Х. Томмола. О супрессиве и об амбиперсонале	173
С. Н. Туровская. Перформативная модальность необходимости	188
С. Н. Туровская. Ретроспективная модальность надобности: высказывания о неправильно сделанном выборе. Семантика и средства актуализации.....	194
А. Штейнгольд. Способы экспликации двойственности в названиях дикорастущих трав	204
В. П. Щаднева. Безглагольные предложения в свете взаимодействия языковых уровней.....	220
П. Эслон. Проблема разграничения модальных значений	233

ОПЫТ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОПИСАНИЯ СУБСТАНТИВНОГО ИМЕНИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА РУССКОГО ЯЗЫКА

М. А. Шелякин

I

Именительный падеж обычно считают беспризнаковым, лишенным грамматического значения, “нулевым” падежом [Karcsevskij 1932: 65], “простым”, “голым” названием предмета [Пешковский 1956: 131]. Р. Якобсон полагал, что именительный падеж “сам по себе не является носителем синтагматических отношений”, “будучи единственным носителем назывной функции в чистом виде”: “название просто связывается с данным или воображаемым предметом. Сообщается его содержание: “*Булочная*”, “*Ревизор*” — таков язык вывесок и заглавий. Говорящий узнает и называет воспринимаемые предметы (население зоосада: *медведь, верблюд, лев*), личные впечатления (*холод, тоска*) или вымышленные образы (у К. Балмонта: *Вечер. Взморье, Вздохи ветра*). Во всех этих случаях именительный функционирует как своего рода предикат по отношению к данной ситуации, которая независимо от того, эмпирична она или фиктивна, внешне противостоит высказыванию” [Якобсон 1985: 141–142]. И далее Р. Якобсон констатирует, что “именительный падеж является лишенной признака формой, выполняющей в речи назывную функцию” [там же, 142], придерживаясь тем самым мнения А. М. Пешковского о том, что им. пад. как “категория безотносительной предметности” [Пешковский 1956: 73] “неспособен сам по себе выражать никаких грамматических значений — это категория самодовлеющая, категория максимально асинтаксическая” [там же, 234].

В приведенных суждениях об именительном падеже много неясного: что такое “простое”, “голое” название предмета и “назывная функция в чистом виде”, как понять “название просто (!) связывается с данным или воображаемым предметом”, почему назывная сущность им. пад. представлена в функции “своего рода предиката” и являются ли *вечер*, *взморье*, *вздохи ветра* предикатами, если вымышленные образы имеют место в сознании говорящего, а слушающий их воссоздает только при передаче информации без отношения к внешнему для него противопоставлению? Еще больше неясностей возникает при чтении дальнейших рассуждений Р. Якобсона об им. пад.: “в повествовательной речи назывная функция именительного падежа всегда соучаствует и даже играет руководящую роль: обозначаемый именительным падежом объект является **предметом высказывания**” (выделено Р. Якобсоном — *М. Ш.*); “благодаря особому положению именительного падежа, возникает своеобразная синтаксическая перспектива: имя (предмет), стоящее в именительном падеже, приобретает в высказывании ведущую роль — говорящий фиксирует на нем свое внимание... Сравни два высказывания: *Латвия соседствует с Эстонией — Эстония соседствует с Латвией*” [Якобсон 1985: 143]. То, что им. пад. может называть предмет высказывания и фокусировать его в высказывании, не вызывает сомнения, но остается непонятной связь этих функций с его “чисто назывной” функцией и отсутствие у него каких-либо признаков, если он может обозначать и фокусировать предмет высказывания.

По сути дела, положение о беспризнаковом характере им. пад., о его чисто назывной функции возвращает теорию падежей к ее первичной стадии, когда Аристотель, на которого, кстати говоря, ссылается Р. Якобсон [там же: 144], выводил из системы падежей номинатив, считая его именем предмета, а отклонения от него — падежами имени. Как известно, стоики изменили точку зрения Аристотеля на им. пад., причислив последний к падежам на том основании, что имя может “выпасть” вертикально прямо или наклонно (отсюда и возникло учение о прямом и косвенных падежах). Но как можно определить прямое/косвенное “падение”? Видимо, косвен-

ное “падение” может быть осмыслено только по отношению к прямому “падению”, а не само по себе. С другой стороны, и прямое “падение” не может быть осмыслено без наличия “косвенного” падения, так что им. и другие падежи представляют собой единую систему, в которой им. пад. противопоставляется другим падежам и имеет свои определенные грамматические признаки. Эти признаки обнаруживаются лишь в предложении, так как падежная парадигматика не дана первично, а моделируется из предложений.

Если исходить из взаимосвязи понятий прямого и косвенного “падений”, то синтаксические признаки им. пад. можно отразить в следующем определении: им. пад. сущ. обозначает предмет/класс предметов, исходно задаваемый говорящим в данной ситуации для установления его предикативных признаков и связей с другими предметами, т.е. предмет/класс предметов, представляемый говорящим в данной ситуации как исходно-центральный (фокусированный) по отношению к приписываемым ему признакам или связям с другими предметами. Грамматически это выражается в независимости его формы от других слов в предложении. Если использовать понятие назывной (номинативной) функции, то она заключается в обозначении им. падежом сущ. предмета/класса предметов в его постоянных квалификативных признаках до установления его предикативных связей и отношений с другими предметами. Эта функция является морфолого-грамматическим значением им. пад. и представлена не только субъектом предложения, но и предикатом предложения, когда идентифицируется ситуативно данный субъект предложения: ср. *Я Иванов*, *“Булочная”*, *“Ревизор”* и др. названия на вывесках и в заглавиях, о чем см. ниже.

Очевидно, что две упомянутые функции им. пад. — исходно-центральная (синтаксически фокусирующая) и номинативная (морфологическая) — взаимосвязаны друг с другом, поскольку предикат предложения выражает присущность признаков и связей уже заданному номинативному субъекту. Представление предмета/класса предметов как исходно задаваемого (независимого) в данной ситуации не может осуществиться без маргинального и зависимого статуса другого пред-

мета или признака. Поэтому им.пад. входит в единую морфологическую систему падежей как прямой падеж, предмет обозначения которого при моделировании ситуации приводится при помощи предиката в то или иное направленное отношение к другим предметам, обозначенным косвенными падежами, в связи с чем последние становятся косвенно-реляционными и функционально определяемыми по отношению к им. пад. [см. об этом Уемов, Уемова 1961]. Таким образом, им. пад. является синтаксически исходной точкой отсчета, узлом связей и отношений при моделировании ситуации и представляет собой актанта, логически предшествующий в формуле актантных отношений xRy . Однако это не обозначает, что им. пад. не может употребляться без косвенных падежей: исходно-предметная функция им. пад. сущ. сохраняется и при односторонних предикатах. Косвенные же падежи, в отличие от им. пад., проявляют свои функции только по отношению к им. падежу, и если они употребляются безотносительно к им. пад., то приобретают признаки последнего (об этом см. ниже).

Исходно-предметная функция им. пад. с его обозначением предмета, который приводится в то или иное отношение к другим предметам, обозначенным косвенными падежами, обнаруживается прежде всего при пространственных значениях падежей. Ср. *Он идет в школу, из школы, через школу, сидит около дома* и т.д. Если учесть, что представления о пространственных отношениях предметов исторически развивались из непосредственного восприятия пространственного положения предмета относительно субъекта восприятия, то им. пад. сущ., видимо, первоначально обозначал в таких случаях воспринимаемого говорящего, который при установлении пространственных отношений 2-го и 3-го лица становился наблюдателем двух “чужих” пространственных отношений, подобных собственным. Ср. определение А. А. Потебней субъекта и его действия: “Субъектом называем вещь как познающую и действующую, т.е. прежде всего **себя**, наше **я**, потом всякую вещь, уподобляемую в этом отношении нашему **я** [...]. Судя по тому, что до сих пор действие субъекта мы можем выразить, т.е. представить себе только человекообразно, “дождь идет”, как “человек идет”, “я иду”, можно ду-

мать, что и вообще понятия действия, причины возникали так, что наблюдение над нашими действиями перенесено на действия объектов, так что как всякий субъект — подобие нашего “я”, так всякое действие — подобие нашего действия” [Потебня 1968: 7–8]. Поэтому А. А. Потебня видел в подлежащем выражение грамматического субъекта как “производителя действия, выраженного сказуемым”, и считал, что подлежащее может быть выражено только им. пад. сущ.: “где нет грамматической субстанции и прямого падежа, там нет субъекта” [там же, 372]. Таким образом, можно предположить, что протагонистом им. пад. было “наше я”, говорящее лицо. Однако сведение подлежащего и значения им. пад. сущ. только к выражению производителя действия вряд ли оправдано для современного состояния языка, в котором подлежащее функционально расширилось до выражения носителя состояния, изменения, оценки, отношения, существования, признака, ср. *Отец болен. Листья пожелтели. Он хороший человек. Мои туфли износились. Гром был и др.* В этом функциональном расширении подлежащего им. пад. сущ. сохраняет свои признаки, а исторически первичный признак “производителя действия” (инициатора и исполнителя действия) сохранился только при определенных предикатах.

Функциональное расширение подлежащего, выражаемого им. пад., привело к тому, что признаки им. пад. сущ. стали служить основой для вовлечения в выражение подлежащего других падежных форм, когда они стали употребляться без зависимых отношений с им. пад. в функции подлежащего, ср. *Мне скучно, Нас было трое. Воды нет. До премьеры осталось семь дней. Собралось около сорока человек.* Функциональное отличие им. пад. от других падежей в позиции подлежащего (ср. *Я скучаю. Мы были втроем. Вода есть*) мы усматриваем в том, что им. пад. в позиции подлежащего выражает предмет предикации, не осложненный какими-либо дополнительными семантическим признаками, а другие падежи в позиции подлежащего вносят в него признаки, свойственные им в системе падежей, но отвлеченные от отношения к им. пад., что определяет статус их синтаксической независимости, так как они не входят в структуру подчинительных

синтаксических связей предиката. Так, в предложении *Мне скучно* субъект представлен как носитель испытываемого непроизвольно состояния, без признака процесса (ср. *Я слушаю*) и формально не управляется предикатом (но ср. *Он дал мне совет*), а взаимно согласуется с ним; в предложении *Нас было трое* субъект представлен как носитель количественной характеристики, в предложении *Воды нет* — как отсутствующий в наличии. Семантическая связь таких подлежащих с предикатами более тесная и предсказуемая, чем семантическая связь с предикатом подлежащего, выраженного им. пад. Другое отличие подлежащих, выраженных косвенными падежами, заключается в отсутствии у них назывной функции, как она была раскрыта выше.

Синтаксическое употребление им. пад. подразделяется на следующие типы: 1) в позиции субъекта предложения, 2) в позиции тематического компонента речи, 3) в позиции предиката, 4) в позиции обращения и 5) в позиции приименного приложения. Рассмотрим функции им. пад. в каждом типе отдельно.

II

В позиции субъекта предложения им. пад. выступает с 1) вербально выраженным предикатом (в двукомпонентных предложениях) и с 2) вербально невыраженным (нулевым) предикатом (в однокомпонентных предложениях).

1. В предложениях с вербально выраженным предикатом им. пад. выражает:

1.1. Значение исходно задаваемого предмета как производителя (агенса) или носителя приписываемого ему в акте речи действия, состояния, бытийного наличия, признака, оценки, отношения: *Ученик пишет. Ребенок спит. В нашем лесу есть грибы. Была зима. В доме была тишина. Мальчик способный. Трасса — десять километров. У меня есть велосипед. Я имею друзей. Мне нужен учебник по русскому языку. Раздался гром. Кончилось лето. Эта книга — отца. Телеграмма — сестре.*

По поводу предложений, в которых при нейтральном порядке слов им. пад. сущ. стоит в конце предложения (типа: *У меня есть дача. У него был хороший характер, грипп, была*

тоска. В нашем лесу водятся лоси. Мне нужен учебник по русскому языку. В доме была тишина и под.) было высказано мнение, что им.пад. в них выполняет предикатную функцию, а существительные в косвенных падежах, стоящие в начале предложения, обозначают предмет предикации: *У меня есть дача = Я имею дачу. У меня был грипп = Я болел гриппом, грипповал.* Мы придерживаемся иного взгляда на строение и значение этих предложений, исходя из формальных показателей субъектно-предикатных отношений (взаимосогласования в грамматических формах) и выражения падежами направленных отношений между предметами и не считая признаковое значение существительного при предметном члене предложения непременным условием признания такого существительного предикатом, поскольку признаковое существительное может занимать и позицию предмета предикации (ср. *Грипп — болезнь заразная. Грипп свалил меня в постель*) и предложение обязательно отражает в своей структуре структуру объективной ситуации. Следует также иметь в виду, что признаковые существительные часто выступают в предложении в качестве персонифицированных явлений: ср. *Его распирает радость. На меня напала тоска. Ребят охватило ликование. Меня грызет тоска. На сердце легла печаль* и под.

Акт предикцирования всегда указывает на носителя предикцируемого признака. С этой точки зрения в предложениях типа *В нашем лесу водятся лоси, У него был талант* языковая структура (формальное согласование и падежное выражение направленности отношений) указывает на то, что предикативный признак (*водятся, был*) приписывается не “*в нашем лесу*” и “*у него*”, а существительным в им. пад. Поэтому значения этих предложений должны определяться в соответствии с их заданной языковой структурой, а именно — как выражающие наличие, бытийность исходного предмета в определенном локуме или принадлежность к сфере лица. Возможность толкования предложения *У него есть талант* как *Он имеет талант* (или как *Он талантлив*) еще не свидетельствует о том, что указанные структуры одинаковы в способе представления “одного и того же”: *у него* указывает на лицо, к сфере владения которого отнесено наличие признакового предмета, а *он*

имеет талант указывает на обладание признаковым предметом с элементом проявления. Сигнификативные различия в данных структурах могут иметь чисто стилистический характер, но могут и взаимоисключать друг друга. Например, как тонко замечает О. Н. Селиверстова, в предложении *У него есть талант* не выражается, что он вообще талантлив, как в предложении *У него есть способности* не выражается, что он вообще способный [Селиверстова 1975: 42; о сигнификативных и стилистических различиях рассматриваемых конструкций с *быть* и *иметь* см. во 2-й главе]. Предложения типа *У него есть дача* выражают направленные посессивные отношения между лицом и предметом, в которых исходным является предмет, обозначенный им. пад., и которые указывают на принадлежность предмета лицу, а не наоборот, в отличие от предложений типа *Я имею дачу*, в которых исходным является лицо, обладающее предметом. Предикаты *принадлежать* и *обладать*, хотя и обозначают одну и ту же ситуацию, различаются сигнификативно, по значению. В этом и заключается разница в выражении направленных посессивных отношений. Подобным же образом предложения типа *У меня был грипп, была тоска*, в которых утверждается наличие *гриппа, тоски* в сфере лица, отличаются сигнификативно от предложений типа *Я грипповал, тосковал*, в которых состояние лица представлено как процессуальное. В предложениях типа *Мне нужен учебник по русскому языку* носителем предикативного признака также является им. пад. существительного и предикат выражает необходимость предмета (*учебника*) для лица (ср. *Этот учебник нужен мне*).

Акт предикирования следует отличать от актуального членения предложения. Актуальное членение предложения — это информативная структура предложения, представляемая говорящим для слушающего (читателя) и включающая нечто уже известное (из ситуации, контекста) или обладающее презумпцией существования (=тема) и нечто новое, впервые введенное в повествование (=рема) по отношению к теме. Каждое высказывание (предложение) строится говорящим прежде всего с учетом указанной информативной структуры, в которой акт предикирования обеспечивает формирование самого сообще-

ния. С этой точки зрения все предложения можно подразделить на два типа. Одни предложения — назовем их предикатно-интродуктивными — впервые вводят предикативные признаки по отношению к их носителям, обладающим презумпцией существования или уже известным из ситуации и контекста. В таких предложениях при нейтральном порядке слов субъект предшествует предикату (примеры очевидны). Другие предложения — назовем их субъектно-интродуктивными — впервые вводят при помощи предиката субъект (носителя предикативного признака) по отношению к месту, времени, сфере лица и др., обладающим презумпцией существования или известным из ситуации и контекста. В подобных предложениях при нейтральном порядке слов предикат предшествует субъекту. К ним и относятся предложения типа *У меня есть велосипед, надежда, мнение. У нас было собрание. В нашем городе есть университет. В книге было много опечаток. В его словах было много правды. Среди нас есть спортсмены. У нас в саду растут яблоки. Раздался гром. Пошел дождь. Кончилось лето. Жили-были старик со старухой... Есть у меня один приятель.* Таким образом, предикат является центральным средством формирования не только сообщения о ситуации, но и его информативной структуры при нейтральном порядке слов: предикат всегда вводит новую информацию (о предикативном признаке, выражаемом им, или о сочетании предикативного признака с его носителем) по отношению к **теме**, которая предшествует предикату.

Однако, как известно, рематическая часть сообщения может предшествовать тематической части в случае ее экспрессивно-эмфатического или логического выделения: ср. *Как хороши, как свежи были розы!* (И. Тургенев); *Удивительно расторопный и хитрый был человек этот Аркадий Иванович* (А. Н. Толстой). Для некоторых типов предложений, включающих вопросительные или восклицательные слова, препозиция рематической части является обычной, что соответствует коммуникативной специфике таких предложений. К подобным предложениям, на наш взгляд, относятся предложения типа: *Прошла гроза, какой хороший воздух!* (А. Чехов); *Андрей!* “*Какой громадный пожар!*” (А. Чехов); *Какой изуми-*

тельный сад! (А. Чехов); — Экая окаянная жизнь... (М. Горький); /Вершинин/: “Однако какой ветер!” (А. Чехов); Я не вижу ни одной хаты. Эх, какая метель! (Н. Гоголь); /Тузенбах, всматриваясь ей в лицо/: “... Какие прелестные, чудные волосы!” (А. Чехов); Какие перышки! Какой носок! (И. Крылов). В научной и учебной литературе приведенные предложения обычно интерпретируются, вслед за А. А. Шахматовым, как односоставные (номинативные) бытийно-оценочные с определениями в форме им. пад. Мы полагаем, что эти предложения являются двусоставными с субъектом в им. пад. и усиленным оценочно-атрибутивным предикатом, который может быть выражен не только прилагательными в сочетании с экспрессивными частицами, но и адъективированными усилительными частицами местоименного происхождения (*какой, что за* и др): 1) в них им. пад. обозначает уже данный, воспринимаемый бытийный предмет (явление), а не его предикативную атрибуцию, как при ситуативных субъектах предложения (о чем см. ниже) и не впервые вводимый субъект предложения, как в бытийных предложениях, ср. /Тузенбах/: “Я точно первый раз в жизни вижу эти ели, клены, березы, и все смотрит на меня с любопытством и ждет. Какие красивые деревья и, в сущности, какая должна быть около них красивая жизнь!” (А. Чехов); /Негина, взглянув в окно/: “Какие лошади, какие лошади!” (А. Островский); 2) в форме прошедшего времени связка *быть* и другие связки относятся не к существительному, как в бытийных предложениях, а к адъективным предикатам, ср. *Какая хорошая была вчера погода! Какие у нее были глаза! О, что это была за ужасная ночь!* (А. Куприн); 3) предикатный характер адъективных слов подтверждается возможностью их употребления в форме твор. пад., ср. *Какой хорошей была вчера погода! Какими красивыми были ее волосы!* Данный тип двусоставных предложений может быть представлен и без экспрессивно-усилительных частиц: *Дурацкая погода. Слышишь, Дима? Стужа, а сверху поливает. И ветер страшный. Ничего не подделаешь: ноябрь* (Л. Рахманов). Если в рассматриваемых предложениях не употребляются качественно-оценочные предикаты, то они переходят в класс бытийных предложений:

Сняв шарф с головы, она обмахивалась им: "Жарища! Скучища! Забежала бы куда-нибудь на край света" (Л. Копылова). *Пожар!*

1.2. Значение исходно задаваемого предмета как производителя и одновременно как объекта действия (при возвратных глаголах определенного типа): *Он умылся, причесался, подчистился. Они встретились, обнялись* и под.

1.3. Значение исходно задаваемого предмета как объекта произвольного действия агенса (при страдательных конструкциях): *Письмо написано мной. Магазин открывается рано.*

1.4. Значение исходно задаваемого предмета как носителя непроизвольного состояния, изменения (с указанием или без указания на причину изменения) состояния (при возвратных глаголах определенного типа): *Он обжегся, оговорился, поправился. Туфли износились. Стена обвалилась. Листья пожелтели.*

1.5. Значение интродуктивно задаваемого предмета, вызывающего восприятие своего проявления (при возвратных глаголах определенного типа): *Мне послышались шаги. Ему почудились голоса. Ей приснился сон. Охотнику встретился волк.*

1.6. Значение исходно задаваемых предметов, находящихся в отношении равноправной совместности или приравняемых друг к другу в их связях с предикатом: *Брат и сестра пришли в гости. Я, как и он, еще не был там.*

1.7. Значение предмета, сравниваемого с исходным предметом с точки зрения общего, но по-разному проявляющегося предикативного признака (тем самым сравниваемый предмет равен исходному предмету, поэтому он обозначается им. пад.). Это значение реализуется в компаративных предложениях с союзом *чем* с опущенным предикатом: *Коля учится лучше, чем Петя.* Ср. также употребление им. пад. сущ. при выражении уподобления сравниваемого предмета с исходно задаваемым: *Он бежит, как стрела* и под.

1.8. Значение исходно задаваемого предмета при его предикативной идентификации: *Кошка — домашнее животное. Москва — столица России. Она моя сестра. Это — Коля, а это — Наташа.* Если идентифицируется ситуативный субъект и при этом присутствует говорящий, то средством указания на

субъект служат указательные местоимения в форме им. пад., выполняющие функцию субъекта предложения: *Потом Надя показывает ему большую книгу с картинками и объясняет: "Это лошадь, это канарейка, это ружье. Вот клетка с птичкой, вот ведро, зеркало, печка, лопата, ворона... А это вот, посмотрите, это слон!"* (А. Куприн). Если при идентификации ситуативного субъекта отсутствует говорящий, то указательные местоимения не употребляются и в качестве предиката идентификации выступает название в форме им. пад. И в том и в другом случае предикатный им. пад. служит средством идентификации (отождествления, приравнивания) ситуативного субъекта с обозначаемым в предикате предметом, о чем см. ниже.

2. Предложения с вербально невыраженными (нулевыми) предикатами при субъектных сущ. в форме им. пад. выражают синтаксическое значение настоящего времени и подразделяются на (2.1) предложения с распространяющими предикат членами предложения и (2.2) предложения без распространяющих предикат членов предложения. И тот и другой тип предложения имеет бытийное значение, выражая интродуктивное (задаваемое) существование, статическое наличие того, что обозначается им. пад., и тем самым семантически однородны подобным предложениям с вербально выраженным предикатом *быть*: *В доме была тишина. — В доме тишина. Была зима. — Зима. Здесь раньше была церковь, а теперь жилой дом.* Однако ряд предложений обладает семантическими особенностями, отсутствующими в предложениях с бытийными предикатами в формах прошедшего и будущего времени. К таким предложениям относятся:

2.2.1. Предложения, выражающие указание говорящим на бытийное наличие или появление, обнаружение предмета в ситуации его непосредственного восприятия. Такие предложения имеют в своем составе указательную частицу *вот* и могут быть названы указательно-бытийными: *Вот мельница. Она уж развалилась* (А. Пушкин); *Вот стул, прошу вас написать ответ* (А. Герцен); *"А, вот Каренин!" — сказал ему знакомый, с которым он разговаривал* (Л. Толстой).

2.2.2. Предложения, выражающие восприятие, обнаружение того, что обозначено им. пад., и обращающие внимание на это адресата сообщения. Такие предложения, как правило, являются восклицательными и могут быть названы экспрессивно-бытийными предложениями: *“Мама, коровы!” — кричала девочка (Н. Тихонов); Псари кричат: “Ахти, ребята, вор!” (И. Крылов); Невдалеке, там, где к полю подходила лесная кромка, вдруг метнулось что-то яркое и легкое: “Дуня, гляди-ка, гляди, лиса!” (Г. Николаева); Смотрите, пожар!*

2.2.3. Предложения, выражающие восприятие, обнаружение того, что обозначено им.пад., в нарративных текстах: *Но вдруг дверь снова распахнулась: почтальон! (И. Бунин); Огорчения для Пелагеи начались, едва она подошла к пекарне. Помойка. Возле самого крыльца. Две вороны роются... Она поднялась на крыльцо, открыла наружную дверь — и того чище: поросенок (Ф. Абрамов); Вхожу в комнату: цветы, подарки, шампанское.*

2.2.4. Предложения, объявляющие о наличии предмета, предназначенного для продажи: *Мать, осторожно оглядываясь, покрикивала: “Щи, латша горячая!” (М. Горький); “Раки! Раки! Раки!” — “Камбала! Камбала! Камбала!”... Из всех торговек привоза наиболее резкими, крикливыми голосами славились торговки рыбного ряда (В. Катаев); ср. названия отделов в магазинах: Часы. Обувь. Товары для женщин и под.*

2.2.5. Предложения, сообщающие о воспринимаемых событиях в различного рода репортажах: например, в репортаже о футбольном матче: *Атака. Еще одна замена. Удар по воротам. Подача. Свисток. Положение вне игры. Удар! Гол! Четыре — три в пользу “Динамо”.*

2.2.6. Предложения, описывающие наличие предметов, явлений как задаваемый фон (экспозиция, рамка, сирконстант) для происходящих событий (обычны в сценических ремарках, киносценариях, в начале повествований): *Усадьба Гурмыжской, верстах в пяти от уездного города. Большая зала. Богатая старинная мебель, трельяжи, цветы, у окна рабочий стол (А. Островский); Ночь. Нянька Варька, девочка лет тринадцати, качает колыбель (А. Чехов).*

2.2.7. Предложения, выражающие бытийность лексически выраженного события как объясняющего условия другого события. Обычно такие предложения употребляются в тексте после изложения объясняемого события/событий: *“Однако, как нынче поздно светает”*. — *“Что вы хотите — осень”*, — сказал Ахунбаев (В. Катаев); *“Что вы говорите! Вы ездили в Полтаву в такую погоду?”* — *“Что же делать! Тяжба...”* (Н. Гоголь); *Сегодня говорить с бабушкой нельзя: гости!* (И. Гончаров); *На траву не садитесь: роса* (А. Островский); *Она вынула платок, сконфуженно отерла глаза и усмехнулась: “Нервы”* (М. Горький). Ср. также предложения со значением общего наступившего условия, объясняющего происходящие события: *Люди работают по восемь часов в день. Часть рабочих уехала в подсобное хозяйство. Многие подроски ушли учиться. Кое-где уже подкрашены крыши, подновлены мостовые. Каждый день слышишь: такой-то вернулся, такая-то вышла замуж... Мир!* (В. Панова); *Солнечный луч... всюду заводит тихую музыку весны. Птицы поют, вода подпекает. И на квартирах у любителей-москвичей веселее запели птички в клетках. Весна!* (Д. Зуев).

2.2.8. Предложения, описывающие панорамное наличие предметов, явлений и др. при заданной общей предметной ситуации: *Берлинские пригороды. Аккуратные домики и газончики. Асфальтированные дорожки и дорожки, посыпанные желтым песком. Гаражи на одну-две машины и собачники на одну-две персоны. Фонтанчики с рыбками и без рыбок, с плавающими растениями и без них. Пивнушки и магазинчики с ровно расставленными кружками... Теннисные корты и автобусные остановки, похожие на рекламные. Бензоколонки на манер американских, садики на манер французских, цветники на манер голландских...* (С. Баруздин).

Заданная общая ситуация может быть обозначена двухкомпонентным предложением, вызывающим соответствующие предметно-бытийные ассоциации: *Я представил себе замечательную картину. Степь. Ночь. Луна. Спящий лагерь* (В. Катаев); *Лидочка занимала одну комнату. Что это была за комната! Крошечные окна. Низкий, кривой потолок с балконом внутрь...* (И. Бунин); *Я догадываюсь: бывший владе-*

лец этого деревянного дома... встречался с Гарибальди. Гарибальди! Небо Италии, поход на Рим, воздух, пропитанный запахом маслиничной коры, страна мечтаний, поэм и нищеты! (К. Паустовский); *Планы составлять научится. Бумажки, промокашки, кнопки, скрепки... Профессор Оболенский покойный на папирсных коробках всю бухгалтерию вел...* (Д. Гранин).

2.2.9. Предложения, фокусированно описывающие воспринимаемые предметные детали, принадлежащие обозначенному лицу (предмету): *И вот к нему подошла маленькая женщина с мальчишеским лицом, задумчиво-плутоватым и смешливым. Голубая майка. Стриженные волосы* (В. Панова); *Вот бежит по тротуару моего соседа дочь. Стройный стан, коса густая, глазки черные как ночь* (А. Плещеев). Такие предложения функционально соответствуют притяжательным конструкциям “у + род. пад. сущ. + быть /иметься/ + субъект предложения”.

2.2.10. Панорамная функция им.пад. может предшествовать функции обозначения общей предметной ситуации. В таком случае последняя выступает в функции бытийного обобщения описываемого наличия предметов: *Живописные, причудливые холмы, поросшие лесами. Ключья голубых озер между ними... Небольшие поля, раскинутые там и здесь... Дороги, то поднимающиеся вверх, то сбегające вниз. Сырые, болотистые лоцины. Плакучие березки у дороги... Валдайская возвышенность. Коренная Россия* (из газет). Считать подобные номинативные обобщения предикативными по отношению к предшествующим предложениям вряд ли оправдано, так как они являются не предикативными определениями (ср. *Это Валдайская возвышенность при ее непосредственном восприятии*), а обозначением обобщенной бытийной предметности, характерные черты которой, проявление которой перечисляются номинативными предложениями.

В заключение отметим, что все предложения с вербально не выраженными предикатами при субъектных сущ. в форме им. пад. имеют общую функционально-стилистическую особенность — они коммуникативно фокусируют обозначаемые предметы в их наличии, бытийности, и поэтому часто упот-

ребляются при лаконичных предметных описаниях с точки зрения наблюдающего лица и рассчитаны на восприятие или представление того, что они обозначают. Этим объясняется их широкое использование в художественных текстах в качестве экспрессивного средства.

III

В позиции тематического компонента речи им. пад. сущ. обозначает фокусированный, исходный предмет рассуждения, синтаксически и экспрессивно выделенный в речи (подробное и глубокое исследование “именительного темы” содержится в работах А. С. Попова [1964; 1968]): *Желанья... что пользы напрасно и вечно желать?* (М. Лермонтов); *Чело-век! Это великолепно! Это звучит... гордо! Че-ло-век! Надо уважать человека* (М. Горький); *Легко сказать: писать! Вот я! Говорить я хоть до завтра, а примись писать, и бог знает, что выходит* (А. Островский); *Москва. Как много в этом звуке Для сердца русского слилось! Как много в нем отозвалось!* (А. Пушкин).

По поводу синтаксического статуса подобных предложений были высказаны разные мнения. Одни исследователи (А. С. Попов, И. Ф. Вардуль) не относят их к предложениям с субъектно-предикатной структурой, считая их тематическими речевыми сегментами [Попов 1964], так как в них отсутствуют предикативные категории модальности, времени и лица, или назывными предложениями (номинантами), отличающимися от фактовых (субъектно-предикатных) предложений тем, что они не позитивны, не негативны, не ориентированы во времени и не соотносены с действительностью [Вардуль 1977: 178]. Другие исследователи, напротив, видят в них разновидности номинативных предложений, поскольку они “представляют собой интонационно-самостоятельную коммуникативную единицу — посредством ее говорящий сообщает о наличии в сознании представления и вызывает аналогичное представление в сознании собеседника. Сравните: *Поезд останавливается. Москва. Казанский вокзал. Москва!... как много в этом звуке для сердца русского слилось!*” [Бабайцева

1968: 137–138]. Академическая грамматика русского языка относит рассматриваемые сообщения к относительно независимым высказываниям, непосредственно не опирающимся на грамматические образцы простого предложения, называя их “представляющими формами” (формами представления), служащими “для обозначения предмета мысли, вспоминаемого, того, о чем пойдет речь, на чем сосредоточивается внимание” [Русская грамматика 1980: 419].

Думается, что АГ-80 более точно назвала сообщения с тематическим именительным “представляющими” (репрезентативными) — не в психологическом истолковании, а в значении ментального демонстративного предъявления. Однако мы склонны считать их фактовыми предложениями на том основании, что они обозначают предметы/классы предметов в обобщенном бытийном и временном плане (в этом заключается их позитивность, ориентированность во времени и соотнесенность с действительностью), что и определяет их функцию ментального предъявления предмета/класса предметов и включение их в последующее предложение в качестве одного из его актантов: *О! Женские нервы! Не будь их, скучно жилось бы на этом свете* (А. Чехов); *Паука Чадин! Таких уже нет теперь* (А. Чехов); *Доброта — она превыше всех благ* (М. Горький). Употребление им. пад. сущ. в репрезентативной функции напоминает его употребление в указательно-бытийной функции, отличаясь от последнего обобщенным и экспрессивным характером.

Экспрессивность им. репрезентативного выражается интонационной самостоятельностью. Но если экспрессивность интонации не подчеркнута и тем самым им. репрезентативный не выделен из цепи последующих предложений, то им. репрезентативный входит в структуру простого предложения в качестве предваряющего (фокусированного) тематического компонента, который служит актантом предложения. Обычно такой тематический компонент предваряет местоименный субъект предложения: *Квартальный Пуговицын... он высокого роста, так пусть стоит для благоустройства на мосту* (Н. Гоголь); *Суэта-то, ведь она вроде тумана бывает* (А. Островский); *Хлеб, он сам растет, а уголь добывать надо*

(М. Шолохов); *Эта романтическая литература начала 19 века в Германии, она влияла...* (пример А. М. Пешковского на “лекторский” им. пад., см. [Пешковский 1956: 405]). Реже встречаются тематические компоненты, выступающие в качестве других актантов простого предложения, типа *Этот стол, пусть его поставят* (пример А. М. Пешковского, там же).

Думается, что подобные простые предложения можно квалифицировать как предложения с обособленными членами в функции тематически фокусированных компонентов, которые, выступая в последующем тексте в качестве актантов, могут сопровождаться различными коннотациями в зависимости от своего местоименного выражения. Например, при замене существительного местоимением *тот* с частицей *и* вся конструкция приобретает усилительно-присоединительные коннотации: *Танюся, и та знает свое призвание: печь пироги с рыбой* (Б. Горбатов); при замене существительного указательной частицей + относительное местоимение *кто/что* вся конструкция носит усилительно-убеждающий характер: *Цветухин — вот кто предназначен испытать еще несмелое увлечение молодых людей* (К. Федин); *Инициатива — вот чего нам больше всего не хватает* (Ю. Нагибин). В том, что им. пад. сущ. является обособленным в структуре простого предложения, убеждает и антиципированное употребление местоименного субъекта предложения, который замещается конкретизированным тематическим компонентом: *Он не сулил им добра, этот день...* (Л. Леонов); *Он казался очень быстрым, этот легкомысленный самолет* (К. Паустовский).

IV

В позиции предиката предложения им. пад. сущ. выступает 1) с вербально выраженным субъектом в форме им. пад. (в двукомпонентных предложениях) и 2) с вербально невыраженным (нулевым) субъектом (в однокомпонентных предложениях).

1. В предложениях с вербально выраженным субъектом в форме им. падежа предикатный им. пад. сущ. вместе со связками *быть, это* и др. выражает идентификацию (равенство)

субъекта предложения, т.е. его совпадение, отождествление, соответствие, приравнивание, подобие, с тем, что обозначает предикат, в том числе и в своем составе. Таким образом, способом выражения идентификации субъекта предложения является формальное (частеречное и падежное) тождество субъекта и предиката и употребление связок в функции указания на идентифицирующую связь предиката с субъектом в модальных и временных планах, а идентифицирующий предикат может быть отдельным или входящим в предикатный состав, ограничивающий его признаки и объем. Сама идентификация субъекта служит для его предметного определения, характеристики или оценки, так как она устанавливает на основе соотношенности равенство предметных реалий субъекта и предиката, т.е. наличие у субъекта предложения всех тех признаков, которыми обладает сущ. в позиции предиката или в составе предиката. Этим предикатный им. пад. сущ. отличается от адъективного предиката, выражающего только один признак субъекта. Поэтому предикатная идентификация субъекта предложения широко используется при всякого рода определениях и характеристиках субъекта, раскрывающих его содержание, сущность, особенности, предметные связи и отличающих его от других предметных явлений. В зависимости от того, с каким предметным явлением и как идентифицируется субъект предложения, выделяются следующие основные типы идентификации:

1.1. Идентификация субъекта предложения с одним из однородных членов более широкого по объему класса: *Он учитель. Кошка — домашнее животное.* Логика в этих случаях говорит об отношениях: “быть элементом класса” и “включение одного класса в другой класс”. Однако языковое выражение этих отношений не содержит логически интерпретирующих их предикатов и формально устанавливает идентификацию субъекта с одним из однородных членов/видов родового класса по его общим признакам, свойственным для всех его элементов. Тем самым предикат в таких предложениях не имеет референтного статуса, выражая качественные признаки класса. Подобную идентификацию субъекта предложения можно назвать классифицирующей.

1.2. Идентификация субъекта предложения, обозначенного указательным местоимением, с его собственным именем или с именным обозначением одного из однородных членов класса: *Это Коля. Я — Иванов. Это канарейка. Это клетка для ловли птиц.* Такую идентификацию можно назвать остенсивной.

1.3. Идентификация субъекта предложения с его родовыми и отличительными признаками при истолковании его понятийного содержания (интерпретирующая или аналитическая идентификация): *Деверь — брат мужа. Пума — крупная дикая американская кошка. Книга — произведение печати в виде переплетенных листов бумаги с каким-либо текстом.* Интерпретирующая идентификация широко представлена в толковых и переводных словарях, энциклопедических справочниках и отражает отношение “это (значит) то же самое, что...” К этому типу идентификации относится и количественная идентификация, когда раскрывается количественный состав субъекта предложения: *Дважды два — четыре. Длина комнаты — 5 метров. Температура — 10 градусов. Срок выполнения работы — два месяца и под.*

1.4. Идентификация субъекта предложения с его уточняющими признаками: *Его имя — Михаил. Адрес — Москва, ул. Тверская, д. 5, кв. 1.*

1.5. Идентификация субъекта предложения с его характеристикой, включающей родовые и характеризующие признаки, в том числе и оценочные: *Болгария — небольшая страна. Гагарин — первый космонавт. Соболь — большой любитель орехов. Она прекрасный педагог. Он умный человек. Смех — дело серьезное. Гнев — плохой советчик.* Такую идентификацию можно назвать характеризующей.

1.6. Идентификация субъекта предложения с самим собой, что представляет его как постоянный и неизменный в проявлении присущих только ему признаков во всех случаях бытия (самотождественная идентификация). Выражается при помощи лексически одинакового обозначения субъекта и предиката предложения с обязательным употреблением связки *быть* или кванторов всеобщности, всевременности *всегда, везде, всюду*: */Андрей/: “Жена есть жена” (А. Чехов). Приказ есть приказ, еду (К. Симонов). Но хоть земля — всегда земля, А*

как-то по-другому *Чужие пахнут тополя* (А. Твардовский). *Дети есть дети. Дети всегда дети.*

1.7. Идентификация субъекта предложения с чем-либо сопоставляемым как своим подобием, аналогом в каком-то отношении (уподобительная идентификация):

1.7.1. с употреблением сравнительных союзов: *Твои речи — будто острый нож; От них сердце разрывается* (М. Лермонтов); *Старый — что малый* (поговорка) и под.;

1.7.2. с употреблением отождествляющих местоимений: *Застой — та же смерть. Урок — тот же театр. Жестокость — та же трусость;*

1.7.3. с лексически переносным употреблением предиката: *Жизнь — роса на траве под низким утренним солнцем... Жизнь — губы Нефертити* (В. Тендряков). *Знание — сила. Его песни — динамит. Ты просто тряпка, тюфяк.*

1.8. Сравнительная идентификация субъекта предложения с собственным классом (самосравнительная идентификация) при помощи лексически одинакового обозначения субъекта и предиката и употребления связочного союза *как*: *“Город, как город”, — хладнокровно заметил Базаров* (И. Тургенев). *Ночь, как ночь, и улица пустынна. Так всегда!* (А. Блок). *Кто ты на сем свете есть? Все люди, как люди. А ты — кто?* (И. Гончаров). Этот вид идентификации служит для того, чтобы подчеркнуть типовой, обычный характер субъекта предложения, подобие его таким же.

1.9. Идентификация субъекта предложения с чем-то соотносительным с ним как непосредственно сопряженным, неотделимо связанным, что характеризует субъект предложения сопряженным с ним признаком. При этом виды сопряженности могут быть различными. Например, а) по одновременности: *Морская служба — это всегда трудности и риск. Закон — это порядок;* б) по зависимым отношениям: *Полет в космос — это известность и слава. Лишний вес — это лишняя нагрузка на сердце;* в) по обуславливающим отношениям: *Долголетие — это физкультура. Хорошая репутация — это прежде всего честность;* г) по сопутствующим отношениям: *Семья — это прежде всего дети. Одесса — это море, каштаны, загородные дороги. Его жизнь — это не-*

прерывные удачи. *Весь день ее теперь — это пленки и стирка*; д) по отношению проявления, отображения субъекта предложения в чем-л.: *Человек — это стиль. Любимый учитель — это не только знания, эрудиция, это и уважение, и доверие, и любовь детей*; е) по назначению, роли, положению в чем-л.: *Издание этой книги — дань уважения замечательному ученому. Твое поведение — причина ссоры. Достоевский — творец полифонического романа* (М. Бахтин).

10. Идентификация референтного (индивидуального) субъекта предложения с предикативным референтом, обозначенным другими языковыми средствами: *Автор "Войны и мира" — Л. Н. Толстой. Дама в малиновом берете была Татьяна Ларина. Это был он. Это и есть тот человек, о котором я тебе говорил. Это наш учитель физики. Мне сдается, что этот беглый еретик, вор, мошенник — ты* (А. Пушкин). Логика о таких случаях говорит, что они содержат равнозначные понятия, имеющие одинаковый объем и различные признаки в содержании. По поводу подобных предложений в научной и учебной литературе были высказаны различные мнения: одни исследователи считают, что они синтаксически неопределенны, т.е. не дифференцируют субъект и предикат предложения, хотя членятся на тему и ремю; другие исследователи полагают, что в них представлены два субъекта предложения и предикат, выраженный глаголом *быть*, в функции отождествления. В последнее время было предложено усматривать в них совпадение субъекта предложения с темой, а предиката — с ремой (и напротив, совпадение субъекта предложения с ремой, а предиката — с темой). Вопрос осложняется еще тем, что в этих предложениях в ряде случаев возможно употребление твор. пад., считающегося всегда показателем предиката, ср. *Этой артисткой была, оказалась наша соседка Марья Петровна. Эта артистка была, оказалась нашей соседкой Марьей Петровной.*

Для решения вопроса о синтаксической структуре рассматриваемых предложений следует сначала определить их функциональное назначение в речи. Это назначение состоит в том, что они устанавливают тождество (однореферентность) между неизвестным (или малоизвестным) для слушающего данным

референтом и известным (по прошлому опыту, знанию, описанию или наблюдению) для него референтом. В этом отношении они функционально подобны предложениям, в которых неизвестный (или малоизвестный) субъект предложения определяется путем указания на известные родовые и видообразующие признаки, ср. *Аксиома — это истина, которая не требует доказательств*. Однако в предложениях тождества носителем “известности” служит не класс и вид класса предметов, а единичный конкретный референт, т.е. его объем совпадает с объемом “неизвестного” (малоизвестного) данного референта. Если признать, что известность референта для слушающего определяется его знанием (или приобретением им знания) соответствующих индивидуализирующих признаков референта, то любая вводимая информация о неизвестном (малоизвестном) референте, содержащая такое знание, является предикатной. В таком случае предикат представлен референтом с известными для слушающего признаками, который отождествляется с неизвестным (малоизвестным) для слушающего референтом. Этим предикат в предложениях тождества отличается от предикатов в других предложениях, в которых он имеет определяющую (характеризующую), а не отождествляющую функцию. Терминологически эти два типа предикатов можно разграничивать следующим образом: отождествляющий референтный предикат и определяющий (характеризующий) предикат.

В соответствии с указанной основной функцией предложения тождества употребляются как ответы на эксплицитные или имплицитные вопросы, выражающие поиск идентификации тематического референта в следующих типах ситуаций: а) узнавания (*Это — известный ученый Петров*), б) установления референтного отличия (*Это тот человек, о котором я тебе говорил*), в) установления референта по описанию или предъявлению (*Вот этот человек и есть мой брат*). Синтаксическая особенность предложений тождества заключается, на наш взгляд, в том, что в них тема всегда совпадает с субъектом предложения, а рема — с предикатом. Что касается употребления твор. пад. сущ. в позиции субъекта или пред-

ката, то, видимо, следует признать, что он может выражать и субъект предложения.

2. В предложениях с вербально невыраженным (ситуативным) субъектом им. пад. сущ. выражает либо 2.1. идентификацию, либо 2.2. характеристику или оценку ситуативного субъекта предложения.

2.1. В качестве ситуативного субъекта предложения могут выступать воспринимаемые предметные реалии, обладающие, по определению И. Ф. Вардуля, “признаками единичности... и пребывающие в одной точке времени-пространства с соответствующим предложением” [Вардуль 1977: 311]. К таким предложениям относятся разного рода письменные и устные названия, надписи, собственные наименования, которые предикативно идентифицируют им.пад.сущ.: “Слон африканский” (надпись на клетке); “Почта”; “Магазин” и т.д.; “Станция Волчья! Поезд стоит пять минут!” — закричал кто-то... (А. Куприн). Такова же предикативная функция им. пад. квалификативных названий письменных произведений: роман, повесть, рассказ, “Грамматика русского языка”, “Справочник по русской грамматике” и под. С одной стороны, они идентифицируют произведения, с другой стороны, они представляют сами обозначаемые предметы, что в определенных ситуациях переводит их в состав предметно-субстантивных имен, ср. *На столе лежала “Грамматика русского языка”*. Таким образом, можно говорить о двух совмещенных функциях названий словесных и др. произведений — предикативной, информирующей о сущности произведения, и предметно-субстантивной, представляющей сам предмет, когда он выступает вместе с названием. Это раздвоение функции им.пад. названия зависит от познавательной установки: мы ищем или сущность предмета, или сам предмет.

Аналогичным образом можно интерпретировать и тематические (проблемные, ситуативные) заглавия книг, глав, разделов, частей и др., связанные с их конкретным содержанием и обозначающие, как писал А. М. Пешковский, “намеки на содержание или даже сжатое выражение его...” [Пешковский 1956: 178], типа: “Война и мир”, “Ревизор”, “Как закалялась сталь” и под. С точки зрения их функции обозначения сущности

озаглавливаемого они представляют собой предикаты, но с точки зрения представления ими самого целостного текста они выполняют предметно-субстантивную функцию. Поэтому если они употребляются вместе с квалифицирующими именами (*роман, повесть* и др.), то являются по отношению к ним определительными приложениями: *Роман “Война и мир”, комедия “Ревизор”*.

2.1.2. В качестве ситуативного субъекта предложения могут выступать воспринимаемые предметные реалии, сущность которых определяется по их признакам в предикате: *После отеля был новый двухэтажный дом, внизу двери открыты настежь. Мы заглянули: магазин* (И. Гончаров).

2.1.3. В качестве ситуативного субъекта предложения могут выступать пресуппозиционно-экзистенциальные предметы, которые очевидны в соответствующих ситуациях (без которых они немислимы). К ним относятся, например, авторы словесных произведений, фамилия которых в функции предиката обозначена в форме им. пад. (ср. также формы им. пад. фамилий художников при их произведениях).

2.1.4. В качестве ситуативного субъекта предложения могут выступать лица, которые представляются по имени, фамилии, званию и др.: *Ах, мой боже! Граф, вот мой муж! Душа моя, граф Нулин* (А. Пушкин); *Остроносая девица с пышной, трагически растрепанной прической назвала себя: “Варвара Антиповна”* (М. Горький).

2.2. Именительный пад. сущ. выполняет функцию предиката при ситуативно воспринимаемом или пресуппозиционно-экзистенциальном субъекте, если им. пад. представлен характеризующими или оценочными существительными и словосочетаниями: *А Подколесина все нет как нет. Экой мерзавец!* (Н. Гоголь); */Хлестаков/: “Экое дурачье! Напишу-ка я обо всем в Петербург к Тряпичкину”* (Н. Гоголь); */Боркин/: “Вас в церкви давно ждут, а вы тут философию разводите. Вот комик!”* (А. Чехов); */Соленый/: “Если бы этот ребенок был мой, то я изжарил бы его на сковороде и съел бы...”* */Наташа, закрыв лицо руками/: “Грубый, невоспитанный человек!”* (А. Чехов); */Вершинин/: “Если бы не солдаты, то сгорел бы весь город. Молодцы!”* (А. Чехов); */Кулигин/:*

“Несмотря на свое болезненное состояние, этот человек старается прежде всего быть общественным. Превосходная, светлая личность. Великолепный человек” (А. Чехов); */Вершинин/*: *“Я люблю, люблю, люблю... Люблю ваши глаза, ваши движения, которые мне снятся... Великолепная, чудная женщина!”* (А. Чехов); *Вот это стрелки! Только вышел командир на мостик — бац! Прямо в сердце* (А. Новиков-Прибой); *“Но он был так добр, что назначил мне Лаврики местом жительства”*. — *“А! Прекрасное имя!”* (И. Тургенев). Оценочная или характеризующая функция предикатного им. пад. может относиться к предыдущим высказываниям: *А еще говорят, что он не честен и пользуется. Какой вздор!* (Л. Толстой).

V

Употребление им. пад. сущ. в функции обращения опирается на его инвариантную функцию обозначения исходно центрального, фокусированного предмета. Обращение обозначает лицо, которому предназначается речь говорящего, т.е. обозначает лицо, выделяемое (фокусируемое) говорящим в качестве адресата (партнера) его речи. Это падежное выделение адресата речи сопровождается интонационным обособлением, служащим для привлечения внимания лица к речи говорящего, и напоминает обособленную репрезентативно-тематическую функцию им. пад. сущ. в составе простого предложения. Поэтому обращение может осложняться признаками репрезентативно-тематического предмета рассуждения, ментального представления, ср. *Тишина, ты лучшее Из всего, что слышал* (Б. Пастернак); *Подруга думы праздной, Чернильница моя, Мой век разнообразный Тобой украсил я* (А. Пушкин); *Тебе, Кавказ, суровый царь земли, Я снова посвящаю стих небрежный...* (М. Лермонтов).

Само обозначение адресата речи может быть различным, в том числе и скрытой предикацией: *“Что же он велел передать тебе, раб?”* — *“Я не раб... Я его ученик”* (М. Булгаков); *“Добрый человек! Поверь мне”*. — *“Это меня ты называешь добрым человеком? Ты ошибаешься”* (М. Булгаков); *Ты*

лжешь, мерзавец! (А. Пушкин); *Ну что, дураки! зачем вы вздумали бунтовать?* (А. Пушкин).

Обычно считается, что обращение не входит в синтаксическую структуру простого предложения. Это представляется ошибочным: во многих случаях (особенно в побудительных и вопросительных предложениях) обращение функционирует в структуре простого предложения как один из его актантов (примеры см. выше). На этом основании, а также на основании интонационного выделения обращение, как и репрезентативно-тематический компонент, можно квалифицировать как обособленный член простого предложения.

Подобно репрезентативно-тематическому компоненту, обращение способно трансформироваться в изолированное сообщение — в фактовое предложение со скрытой предикацией, выражающее особой интонацией субъективное отношение говорящего к адресату (его поведению, высказываниям и др.): просьбу, угрозу, упрек, изумление и др.: */Войницкий/*: “*Никаких у него нет дел. Пишет чепуху, брюзжит и ревнует, больше ничего*”. */Соня, тоном упрека/*: “*Дядя!*” (А. Чехов); */Аркадина, тихо/*: “*Это что-то декадентское*”. */Треплев, умоляюще и с упреком/*: “*Мама!*” (А. Чехов); *Шубин глянул во внутренности лавки, остановился и кликнул*: “*Аннушка!*” *Девушка остановилась* (И. Тургенев). Ср. также употребление подобных предложений в школьной практике при побуждении учеников к ответу на заданный вопрос. Как известно, А. А. Шахматов называл рассматриваемые предложения вокативными, обратив внимание на их коммуникативную самостоятельность. Они входят в состав нерасчлененных предложений и функционально близки к нерасчлененным междометным предложениям.

В приименной позиции им. пад. сущ. представлен несклоняемыми собственными существительными при склоняемых нарицательных именах и выполняет функцию определительного приложения, ср. *Он жил у горы Казбек. Я купил газету “Труд”. Мы говорили о романе “Война и мир”. Он прилетел самолетом Киев—Москва, а потом путешествовал по каналу Москва—Волга. В партии Карпов—Каспаров были очень интересные шахматные новинки. Он жил под фамилией Орлов.*

Природа приименного употребления им. пад. сущ. в функции приложения не совсем ясна. Некоторые исследователи полагают, что оно отражает аналитические тенденции в современном русском языке, что представляется неубедительным, так как касается только собственных имен. На наш взгляд, несклоняемое употребление им. пад. сущ. при склоняемых нарицательных именах возникло на основе глубинных субъектно-предикатных структур с предикатами “называться”, “участвовать” и отражает идентифицирующую и фокусирующую функцию им. пад. сущ., ее распространение на определения особого типа для выражения их точности и недвусмысленности.

ЛИТЕРАТУРА

- Бабайцева В. В. 1968. — Односоставные предложения в современном русском языке. Москва.
- Вардоль И. Ф. 1977. — Основы описательной лингвистики. Москва.
- Karcevskij S. 1932. — Sur la structure du substantif russe. “Charisteria G. Mathesio quinquagenario...” Praha.
- Пешковский А. М. 1956. — Русский синтаксис в научном освещении. Москва.
- Попов А. С. 1964. — Именительный темы и другие сегментированные конструкции в современном русском языке // Развитие грамматики и лексики современного русского языка. Москва.
- Попов А. С. 1968. — Сегментация высказывания // Русский язык и советское общество: Морфология и синтаксис современного русского литературного языка. Москва.
- Потебня А. А. 1968. — Из записок по русской грамматике. Т. 3. Москва.
- Русская грамматика. 1980. — Т. 2. Синтаксис. Москва.
- Селиверстова О. Н. 1975. — Компонентный анализ многозначных слов. Москва.
- Уемов А. И., Уемова Е. А. 1961. — Логические функции падежных конструкций // Логико-грамматические очерки. Москва.
- Якобсон Р. 1985. — К общему учению о падеже // Роман Якобсон. Избранные работы. Москва.

ON THE FUNCTIONAL DESCRIPTION OF THE SUBSTANTIVE NOMINATIVE CASE IN THE RUSSIAN LANGUAGE

S u m m a r y

The article refutes the opinion under which the form of the Nominative case of the Noun (N_{nom}) is allegedly unmarked and void of any grammatical meaning. It has been suggested by the author that the invariant meaning of N_{nom} is the designation of an item / a class of items highlighted by the speaker at the outset of his speech act in order to establish its predicative features and relations to other items. The functions of N_{nom} in the following positions are under consideration: subject of the sentence (two-component and one-component sentences), allocution and adnominal apposition. It has been proved by evidence that in all those positions N_{nom} displays the functional varieties of the above invariant meaning. All functional-semantic types of sentences with N_{nom} have been enumerated. Emphasis is laid on the function of identification of N_{nom} in the position of the predicative, and the types thereof.

УПОТРЕБЛЕНИЕ КРАТКИХ И ПОЛНЫХ ФОРМ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО

(к вопросу о природе грамматических значений)

Б. Гаспаров

Возможность альтернативного употребления краткой формы и именительного падежа полной формы прилагательного (в дальнейшем — КФ и ПФ) в роли именного предиката и связанные с этой возможностью формальные, смысловые и стилистические факторы, определяющие выбор одной из форм, являются интересной и характерной чертой современного русского языка.¹ История изучения этого вопроса связана с различными попытками найти такой диагностический критерий, который позволил бы противопоставить альтернативные выражения и объяснить логику употребления каждого из них в речи. Наибольшую известность приобрело решение, согласно которому выбор краткой или полной формы зависит от характера протекания признака во времени: ПФ обозначает постоянное свойство субъекта, тогда как КФ обозначает признак, ограниченный во времени; ср. *Он был больной* 'он был человек с плохим здоровьем' и *Он был болен* 'он болел (некоторое время в прошлом)'.²

Такой разграничительный признак остроумно объясняет целый ряд конкретных случаев, реально наблюдаемых в речи,

¹ Размеры настоящей статьи не позволяют рассмотреть третью альтернативу адъективного предиката — полное прилагательное в творительном падеже — в ее соотношении с первыми двумя; я надеюсь вернуться к этому аспекту проблемы в будущем в качестве продолжения настоящего исследования.

² Этот взгляд получил канонизацию в [Виноградов 1947: 263], после чего сделался стандартным объяснением, предлагаемым в общих курсах русской грамматики самых различных рангов, несмотря на то, что в большинстве исследований более позднего времени, специально посвященных этому предмету, показывается несостоятельность или по крайней мере недостаточность данного признака.

но он же оказывается совершенно неприменим ко многим другим случаям, столь же обычным в практике употребления языка. В частности, именно КФ обязательна во многих научных определениях, философских сентенциях, общежитейских суждениях, несмотря на то что такого рода выражения имеют панхроническую ценность, то есть утверждают признак, не ограниченный во времени: *Треугольники ABC и DEF подобны. Выражение X многозначно. Жизнь прекрасна.*

С другой стороны, некоторые определения, казалось бы, совершенно аналогичные предыдущим и по стилю, и по значению (во всяком случае не отличающиеся от последних с точки зрения “постоянства” признака), требуют как раз ПФ: *Эти прилагательные — краткие. Угол ABC — прямой.*

Очень часто в языке оказываются возможны параллельные выражения как с КФ, так и с ПФ, равным образом обозначающие постоянное свойство, либо равным образом относящиеся к ограниченному во времени состоянию. Так, к обоим альтернативным выражениям *Он (был) болен* и *Он (был) больной* можно с одинаковым успехом присоединить и временные идентификаторы типа *сейчас, сегодня, вчера, в прошлом году*, и слова типа *всегда, постоянно, всю жизнь*.

Столь очевидные противоречия³ заставляют авторов большинства работ, появившихся начиная с 1950-х гг., искать иные признаки, которые обладали бы большей объяснительной силой. Назовем наиболее важные из них.

1) Указывалось, что КФ часто обозначает (или подразумевает) различные степени признака, тогда как ПФ выражает признак абсолютно, безотносительно к степени его проявления. Это обстоятельство мимоходом упоминалось уже в старой Академической грамматике [Грамматика: 451], а в последнее время подробно освещено в работе [Казавчинская 1990].

³ Убедительные примеры, противоречащие “стандартной” теории, приводятся в работах [Исаченко 1963: 73; Babby 1975: 190–192; Nichols 1981: 302; Казавчинская 1987: 123]. По справедливому замечанию Николс, традиционный взгляд обобщает в качестве темпорального значения признаки, принадлежащие референтному смыслу некоторых конкретных ситуаций.

Данная трактовка сохраняет представление об “абсолютном” характере ПФ, только из плана временной протяженности эта идея переводится в план степени качества: как противопоставление объективно присущего предмету свойства (ПФ) и субъективно оцениваемого качества (КФ).

2) Принципиально иная интерпретация была предложена в работе Н. Ю. Шведовой [1952: 86; ср. также Nichols 1981: 302–303]: ПФ выражает отвлеченное качество, свойственное целому классу, под которое подводится субъект данного высказывания в качестве члена этого класса, тогда как КФ приписывает свойство непосредственно данному субъекту. *Китайский язык труден, Это вино вкусно* — речь идет о нашем непосредственном ощущении данного предмета; *Китайский язык трудный, Это вино вкусное* — означает, что данный предмет относится к разряду ‘трудных языков’ или ‘вкусных вин’.

3) Наконец, еще одна линия исследований ведет к тому, что в современном употреблении ПФ сохраняется “артиклевое” значение определенности (субъекта, которому приписывается признак) — значение, которое было присуще членной форме прилагательного в церковнославянском языке [Казавчинская 1988].

Каждая из этих интерпретаций чрезвычайно удачно объясняет целый ряд конкретных примеров. Более того, интуитивно ощущается, что каждая из них имеет непосредственное отношение к предмету, верно схватывая какую-то его сторону. Отметим, что все рассмотренные выше объяснения по-разному, с разных сторон освещают тот факт, что свойство, выражаемое ПФ, более тесно связано с предметом, к которому оно отнесено: оно скорее “принадлежит” предмету, чем “приписывается” ему; ПФ скорее характеризует предмет в целом, чем приписывает ему какой-то отдельный признак. Отсюда ощущение объективности, абсолютного характера, постоянства качества, выражаемого ПФ, его внутренней присущности предмету как члену определенного класса, наконец, его конк-

ретизирующего (артиклевого) потенциала.⁴ Каждое из этих свойств ПФ проявляется, более или менее выпукло, в целом ряде благоприятствующих случаев. Однако попытка возвести любое из этих свойств в ранг *Gesamtbedeutung*, представить его в качестве общего правила, немедленно наталкивается на контрпримеры. Так, идее об абсолютности и/или объективности свойства, выражаемого ПФ, противоречит широкое употребление КФ в научных определениях, которым как раз присуще объективное и абсолютное значение (см. примеры, приводившиеся выше). Обобщенный, родовой характер признака, выражаемого ПФ, больше зависит от характера предмета, чем от самой этой формы как таковой: если выражение *Китайский язык трудный* удачно интерпретируется в том смысле, что данный язык принадлежит к классу трудных языков, то выражение *Чемодан был очень тяжелый* едва ли можно без натяжки истолковать в том смысле, что данный предмет принадлежал к классу очень тяжелых чемоданов.

Различие в значении выражений с ПФ и КФ дополняется и усугубляется стилистическими различиями между ними. И здесь первоначальное решение, намеченное уже в трудах прошлого и начала этого века, получило кристаллизацию у Пешковского и Виноградова; согласно этому решению, ПФ тяготеет к разговорному и неформальному стилю, КФ — к книжному и формальному [Пешковский 1956: 225–226]. Но уже Виноградов упоминает некоторые случаи, противоречащие этой картине (употребление ПФ в высоком поэтическом стиле) [Виноградов 1947: 265]. В последующих работах

⁴ Эту же общую тенденцию отражает интересная попытка модифицировать традиционную интерпретацию, предпринятая Т. П. Ломтевым [1956:135]. Согласно Ломтеву, различие во временной характеристике признака определяется тем, что в случае КФ форма времени, выражаемая связкой, относится к прилагательному, тогда как в случае ПФ форма времени относится к субъекту: *Она была добра* означает, что качество принадлежало субъекту в прошлом; *Она была добрая* — что в прошлом существовал субъект, обладающий этим качеством. И в этой интерпретации, как видим, выявляется более тесная связь ПФ с субъектом.

выявляется со все большей подробностью, что обе альтернативные формы в принципе обладают широким стилевым спектром⁵, хотя в отдельных конкретных случаях соотносительные выражения с ПФ и КФ могут быть четко противопоставлены стилистически. Остается, однако, совершенно неясным, каким образом стилистические и смысловые параметры выражений с адъективными предикатами соотносятся между собой. Имеется ли какая-либо связь между различной стилистической окрашенностью, свойственной разным конкретным выражениям с ПФ и КФ, и множественностью их значения? Соответствует ли эта стилистическая вариативность той неоднородности, с которой то один, то другой из смысловых параметров заявляет о себе с большей или меньшей отчетливостью в различных конкретных случаях?

Все эти трудности заставили некоторых исследователей вовсе отказаться от смысловой интерпретации, переводя проблему в плоскость синтаксической формы. Различие между выражениями с ПФ и КФ в предикативной позиции объясняется в этом случае тем, что они, несмотря на внешнее (поверхностное) формальное сходство, имеют различную глубинную синтаксическую структуру, которой соответствует различная трансформационная история: КФ непосредственно присоединяется к связке в качестве именного предиката, тогда как ПФ в роли предиката представляет собой трансформ именной фразы. Так, выражение *Елка была высока* складывается непосредственно из сочетания субъекта и предиката; КФ в сочетании со связкой выступает в качестве эквивалента глагольного предиката. Но выражение *Елка была высокая* включает в своей трансформационной истории две самостоятельные фразы: *елка была* и *(была) высокая елка*; иначе

⁵ Большое место уделено стилистическому фактору в работе [Gustavsson 1976: 114 и след.]. Николс, отчасти опираясь на выводы этой работы, идет еще дальше, указывая на возможность не только общестилевых, но и индивидуальных авторских вариаций в выборе предикативной формы [Nichols 1981: 312].

говоря, смысл такого выражения интерпретируется как *‘(эта) елка была высокая елка’*⁶.

При всем отличии в методе от “интуитивных” смысловых интерпретаций, формальный анализ приходит к результату, который может быть успешно соотнесен с ними⁷; “трансформационная история” высвечивает еще один аспект того факта, что ПФ каким-то образом более тесно связана с действительным, к которому она относится в качестве предиката, чем КФ. Но и трансформационный анализ невозможно принять в качестве единого и конечного объяснения проблемы. Ведь его полное “единство” покоится исключительно на том факте, что он оперирует умозрительным конструктом языковой формы, созданным самим исследователем, который нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть на основе наличных, непосредственно наблюдаемых языковых фактов. В лучшем случае такой конструкт служит косвенным свидетельством действующих в языковом употреблении механизмов — свидетельством, имеющим такое же отношение к проблеме в качестве одного из ее аспектов, как и различные смысловые интерпретации.

Множественность и разбросанность получающейся картины, наличие контрпримеров, встающих на пути любой конкретной интерпретации, не означает, однако, что в рассмотренных выше гипотезах мы имеем дело с “неправильно” сформулированным признаком, который должен быть заменен каким-то другим, лучше объясняющим доступный нашему наблюдению корпус примеров. Специфика предлагаемого ниже анализа состоит в том, что он вообще не будет исходить из возможности и необходимости формулирования единого инвариантного признака, который возвышался бы над всем кон-

⁶ Впервые выдвинутая [Исаченко 1963], эта идея получила подробную разработку в терминах генеративной грамматики в книге [Babby 1975]. Заметим, что в более неопределенной форме мысль о “глагольности” КФ высказывалась во многих грамматиках прошлого и этого столетия — от Востокова до Виноградова [см. Казавчинская 1987: 122].

⁷ Ср. замечание о соотносительности между формальным анализом и интуицией говорящих: [Babby 1975: 168].

кретным материалом и его частными, классифицирующими обобщениями в качестве вершины некоей пирамиды. Напротив, методологической основой анализа будет служить представление о языковом употреблении и языковых функциях, принципиально избегающее телеологической направленности к последнему и конечному, обладающему полной обобщающей силой, решению. Согласно такому представлению, совокупность реально встречаемых в языковой деятельности случаев употребления языковой формы представляет собой поле, в котором взаимодействуют различные факторы — синтаксические, интонационные, смысловые, эмотивные, стилевые, — имеющие разное значение и разную силу. Более того, и значение, и относительная весомость каждого из таких факторов представляет собой переменную величину; она изменяется в зависимости от наличия и характера других взаимодействующих с ним факторов, а также от общих коммуникативных, стилевых, ситуационных условий употребления⁸.

По причине этой множественности и переменности действующих сил описываемый феномен — в данном случае формы прилагательного в предикативной позиции — приобретает подвижный, динамический характер. Он не столько “реализует” некую изначально заданную твердую систему ценностей и правил, сколько “развертывается” в разнообразных, все время меняющихся конфигурациях, отражающих переменный набор признаков и тех ценностей, которые эти признаки каждый раз приобретают во взаимодействии друг с другом в конкретных (тоже все время меняющихся) коммуникативных условиях.

Не следует думать, что динамический подход означает отказ от обобщения, растворяя лингвистическое описание в бес-

⁸ Мысль о том, что употребление КФ и ПФ принципиально не является однопризнаковым феноменом, высказывается в некоторых недавних работах на эту тему (см. в особенности Nichols 1981; Gustavsson 1976). Мне кажется, однако, что в этих работах недостаточное внимание уделено взаимодействию различных параметров; различные признаки предстают здесь скорее в виде некоего набора, чем непрерывного поля, в котором все они взаимодействовали бы друг на друга и друг в друга перетекали.

конечных “частных случаях”. Просто характер обобщения оказывается иным; его предметом становится взаимодействие и пластические перевоплощения различных факторов как общий принцип, согласно которому говорящие осуществляют выбор и осмысление языковых форм. Будучи однажды продемонстрирован с достаточной убедительностью, этот принцип может затем применяться к все новому материалу, все новым ситуациям. В этих ситуациях первоначально продемонстрированные параметры будут подвергаться все новым трансформациям — при сохранении, однако, общего принципа их динамического взаимодействия. Такой подход отказывается от попыток построить раз и навсегда некую языковую машину, способную порождать неограниченное число эмпирически правильных языковых фактов; динамическая модель — это такая “машина”, которая сама все время изменяется в процессе своей работы. Ее невозможно поэтому “построить” в буквальном смысле — но можно описать характер ее работы, в качестве общего принципа.

Обращаясь с этой точки зрения к различным случаям употребления краткой и полной формы прилагательного, можно высказать предположение, что различие между этими двумя формами лежит не в значении приписываемых субъекту признаков как таковых, но скорее — в том, каким образом эти признаки приписываются субъекту.

ПФ — это форма, в которой прилагательное выступает не только в качестве предиката, но также в качестве атрибута субъекта. Наличие тесной связи между предикативным употреблением ПФ и ее атрибутивной ролью в составе именной фразы можно показать и не прибегая к умозрительной “трансформационной истории”. Эта связь определяется хотя бы тем фактом, что выражения с ПФ в роли предиката и атрибута часто имеют тождественный словесный состав, различаясь лишь порядком слов и логическим ударением: *Было / сырое и туманное утро* (связка *было* — простое сказуемое, ПФ — определение к подлежащему); *Утро / было туманное и сырое* (ПФ — именная часть сказуемого)⁹. Более того, в силу воз-

⁹ Ср. аналогичные наблюдения: [Пешковский 1956: 228–229].

возможности инверсии даже различие в порядке слов между двумя конструкциями не является обязательным; оно маскируется, как бы затушевывается различными вариациями словорасположения, имеющими различное логическое членение, разные стилистические и эмоциональные оттенки. Например, в следующей фразе из Достоевского (“Белые ночи”): *Небо было такое звездное, такое светлое небо*, — читатель сначала интерпретирует ПФ в первой части фразы на основании порядка слов как предикат (*Небо / было такое звездное*); однако во второй части фразы аналогичные по форме прилагательные явно выступают в роли атрибутов того же субъекта, что дает возможность ретроспективной реинтерпретации прилагательных и в первой части как атрибутов, вынесенных в конец фразы лишь в силу “поэтической” инверсии (*Было / такое звездное, такое светлое небо*).

Такого рода соскальзывания от одной функции прилагательного к другой возможны не только в художественных стилях, но и в непринужденной разговорной речи. Сравним полную естественность для разговорной речевой ситуации таких оборотов, как *Эта книга совсем слабая, совсем слабая книга*, — где перифраза-подтверждение переводит прилагательное из предикативной роли в атрибутивную¹⁰.

Можно утверждать, что в языковом сознании говорящих присутствует неопределенно большое число реально им памятных или потенциальных выражений, в которых различие между атрибутивной и предикативной ролью ПФ оказывается более или менее затушевано и принимает характер полутонов, тонких оттенков, легко переходящих друг в друга в зависимости от контекста и интонационного воплощения фразы.

С другой стороны, предикативная роль КФ сохраняется независимо от ее позиции во фразе относительно субъекта и не затушевывается в силу разговорной или поэтической инверсии. Например, в стихе *Просты мои песни и грубы* (Демьян Бедный) — тот факт, что одно из прилагательных предшествует существительному, а другое следует за ним, нисколько не

¹⁰ Ср. наблюдения над “интерференцией” различных синтаксических структур в разговорной речи: [РРР 1973: 339–347].

затемняет синтаксические очертания фразы, в которой оба прилагательных недвусмысленно выступают в роли именных сказуемых.

Тесная аналогическая связь между атрибутивным и предикативным употреблением ПФ накладывает свой отпечаток на тот смысл, который эта форма получает в роли именного сказуемого. Попадая в предикативную позицию, ПФ сохраняет отпечаток атрибутивности.

Различие между атрибутированием и предикаторованием признака состоит в том, что в первом случае признак как бы растворяется в предмете как его неотъемлемая часть; в выражении *тихая ночь* речь не идет о 'тишине' и 'ночи' как двух отдельных компонентах смысла, но именно о 'тихой ночи' как целостном представлении. С другой стороны, эффект предикаторования состоит в том, что мы активно приписываем данный признак данному предмету. Выражение *Ночь тиха* исходит из первичного представления о 'ночи', отвлеченного от признака 'тишины'; утверждение о наличии этого признака, активное включение его в наше представление о предмете и составляет смысл высказывания. То представление, которое мы в конечном счете получаем о предмете, выступает как результат мыслительной работы говорящего, мы ощущаем его волю, усилие его мысли в том, что данный признак включается в состав данного предмета.

Это целенаправленное, интерпретирующее, квалифицирующее отношение к предмету высказывания ослаблено в случае употребления ПФ. Конечно, всякий акт предикаторования до некоторой степени предполагает интерпретирующую позицию говорящего по отношению к предмету высказывания; ведь предикат — это и есть то, что говорящий "сообщает" о данном предмете. Но в выражении с ПФ эта предикаторующая деятельность говорящего лишается аналитического начала. Говорящий не расчленяет предмет и его свойство; он представляет предикаторующий признак как "присущий" данному предмету, как неотъемлемую часть той общей картины, которую являет собой данный предмет. Акт предикаторования признака формой ПФ высвечивает для нас предмет в этом его качестве, обращает наше внимание на то, что он таков, каков

он есть. Роль говорящего по отношению к предмету оказывается пассивной: не он совершает операцию над предметом, вычлняя в нем либо приписывая ему некое свойство, но скорее предмет производит на него определенное “впечатление”, оборачивается к нему такой стороной, при которой становится видно это свойство. Высказывание такого рода не представляет собой суждение о предмете, но скорее передает целостное ощущение предмета как данности, на которую говорящему остается лишь указать.

Эт о м о д е й к т и ч е с к о м у компоненту смысла высказывания с предикатом в форме ПФ соответствует также а п е л л я т и в н ы й оттенок, присущий такого рода высказыванию. Указывая на предмет, говорящий как бы приглашает собеседника разделить с ним то состояние, которое вызывается данным впечатлением. Понять такого рода высказывание — означает не столько принять к сведению его смысл, сколько “приобщиться” к тому ощущению, которое данное высказывание выражает в виде целостного, нечленимого образа. В высказывании-суждении, модус которого задается КФ, на первый план выдвигается каузальный подтекст: те подразумеваемые “почему” и “для чего”, в силу которых говорящий счел нужным сообщить данное сведение адресату. Но в высказывании-ощущении на первый план выдвигается эмпатический, апеллятивный подтекст: ожидание, что адресат примет предмет в этом его состоянии как данность, не подлежащую расчленению и анализу.

Так, высказывания типа *Он смертельно болен, Он несчастен в личной жизни* имеют объяснительный смысл. Говорящий произносит свое суждение на основании имеющегося у него “знания” о субъекте, а не на основе производимого субъектом впечатления; состояние субъекта, о котором нам сообщается, может никак не проявляться в том внешнем впечатлении, которое он оставляет. Но в высказываниях *Он совсем больной, Он такой несчастный* речь идет именно об образе субъекта, несущем на себе печать этого его состояния. Говорящий выражает свое впечатление/ощущение и стремится передать это впечатление адресату. В первом случае адресат “узнает” нечто о предмете; во втором — он приобща-

ется к тому образу предмета, который ощущает и стремится выразить говорящий.

Различие смысловой перспективы, задаваемой двумя формами, проявляется также в том, что в случае с КФ в фокусе внимания оказывается признак, приписываемый предмету, тогда как в случае с ПФ внимание сосредоточено на самом предмете, несущем этот признак.

Это различие с полной безусловностью проявляется в безличных предложениях с именным предикатом. Безличные предложения принципиально “беспредметны”, они исключают определенное, конкретизированное представление о субъекте высказывания. В этих условиях предикат в ПФ оказывается полностью невозможен: ведь такой предикат выдвигает на первый план именно представление о предмете. Вот почему конкуренция двух предикативных форм существует только в личной конструкции: *Ночь была тиха и светла* — *Ночь была тихая и светлая*. Но в безличном предложении возможна только КФ: *Ночью было тихо и светло*. Безличное предложение представляет собой наиболее радикальный случай утверждения признака в отвлечении от предмета, и этому его свойству хорошо соответствует функция, выполняемая КФ. Характерное отклонение от этого принципа находим, однако, в сцене из “Носа” Гоголя, когда цирюльник Иван Яковлевич обнаруживает нос, запеченный в хлебе.

Иван Яковлевич ковырнул осторожно ножом и пощупал пальцем. “П л о т н о е! — сказал он сам про себя, — что бы это такое было?”

Хотя предмет речи здесь предстает в “анонимной” замаскированности, типичной для безличного предложения, его осязаемость, “предметность” ощущения всячески подчеркнута; этим и вызывается предпочтение ПФ. Ср. аналогичное различие в смысле таких выражений, как *Тут мокро* и *Тут мокрое*; *Горячо!* и *Горячее!* Первые передают ощущение как таковое, безотносительно к вызвавшему его предмету, вторые — сообщают о “некоем предмете” (пусть еще не опознанном), вызвавшем данное ощущение.

Модус целостного образа, непосредственного ощущения, сообщаемый ПФ, и модус суждения о субъекте, сообщаемый

КФ, по-разному проявляются в различных ситуациях, в зависимости и во взаимодействии с такими факторами, как характер субъекта (одушевленный или неодушевленный, конкретный или абстрактный) и приписываемого ему признака; отношение данного высказывания к более общему содержанию всего сообщения и к той подразумеваемой ситуации, в которой и по поводу которой это сообщение создается; взаимоотношения между говорящим и адресатом; стилистическая и жанровая фактура сообщения и т.д. В этой переменной смысловой и стилевой среде значение каждой формы проявляется как смысловой “вектор”, который, взаимодействуя со всеми факторами, воплощается во множестве конкретных значений, образуя целый континуум смыслов. Картина субъекта, наделенного теми или иными признаками, предстает в различной перспективе, как бы в различном освещении, в зависимости от того, выражены ли данные признаки полной либо краткой формой адъективного предиката. В зависимости от многих переменных условий, это различие перспективы дает различные результирующие эффекты. В одних ситуациях на первый план выступает различие в интерпретации самих признаков: их постоянного либо переменного характера, относительности либо безусловной заданности, степени их существенности для понимания предмета, степени их “объективности” либо, напротив, импровизационной окказиональности и т.п. В других — различие перспективы не вносит каких-либо существенных изменений в понимание признака как такового, но проявляется в первую очередь в характере позиции, занимаемой говорящим по отношению к предмету сообщения и к адресату: позиции интимного соучастия либо формально-отстраненного обмена суждениями, непосредственно адресованного апеллятивного “жеста” либо объективированного сообщения. Иногда, наконец, это различие отражает не столько подразумеваемые отношения говорящего и адресата, сколько различную жанровую рамку сообщения: высказывание приобретает оттенок “разговорности” либо “научности”, эмоционально заряженной импровизационности либо отчетливой и резкой аподиктичности, непритязательной небрежности либо ораторского или поэтического пафоса.

Рассмотрим некоторые смысловые линии, по которым происходит такое взаимодействие различных факторов.

1. Предметное и жанровое содержание сообщения

Целостное, образное отношение к предмету, задаваемое ПФ, проявляется в предпочтении для этого типа высказывания таких квалифицирующих признаков, которые заключали бы в себе эффект “осязаемости”, образной представимости. И напротив, высказывания с КФ естественным образом оперируют признаками, имеющими отвлеченный смысл, невоплотимый в осязаемом образе. Это различие наглядно проявляется в тех случаях, когда какое-либо конкретное свойство подвергается метафорическому переосмыслению, приобретая более отвлеченный, не связанный с конкретным представлением смысл. Сравним: *Голос у него негромкий. Он совсем простой. Мой дар убог, и голос мой негромок* (Э. Баратынский). *Зорич был очень прост* (А. Пушкин).

В первом случае речь идет о конкретных, образно представимых свойствах: ‘негромкость’ как тембр голоса (создающий определенное впечатление о его носителе), ‘простота’ как определенная внешность и манера поведения. Во втором — эти свойства получают вторичный, метафорический смысл, не воплощаемый в чувственный образ: негромкость “поэтического голоса” символизирует определенную эстетическую позицию, простота интерпретируется как ‘наивность, глупость’. Этому различию соответствует предпочтение ПФ для первого случая и КФ — для второго. Характерен следующий пример из басни Крылова “Волк на псарне” — слова “ловчего”-Кутузова, обращенные к “волку”-Наполеону: *Ты сер — а я, приятель, сед!* Употребление в этом случае ПФ лишило бы фразу всякого смысла; она превратилась бы в простое указание на цвет шкуры “волка” и цвет волос “ловчего”. Но КФ придает физическим свойствам вторичную, символическую ценность: “серый” цвет выступает как знак лицемерного камуфляжа, седина — как символ житейской мудрости и опыта.

И напротив: если абстрактный признак метафорически переосмысливается в чувственное конкретное, осязаемое свойство, такой смысловой сдвиг отражается в замене КФ на ПФ: 1) *Денис! Он вечно будет славен* (А. Пушкин). *Он знатен и богат*. 2) *Славная бекеша у Ивана Ивановича!* (Н. Гоголь). *Знатная будет уха!*

Во второй группе примеров речь идет не о 'славе' и 'знатности' как абстрактных свойствах, но о чисто эмотивном усилении впечатления, производимого конкретными предметами. Предметная конкретизация смысла, апеллятивная, дейктическая непосредственность подразумеваемой ситуации сдвигает вектор выбора формы в сторону явного предпочтения ПФ.

Сказанное, конечно, не означает, что высказывания с ПФ всегда имеют дело с образно представимыми свойствами, а высказывания с КФ — с абстрактными; такое различие наглядно проявляется лишь в случаях, подобных приведенным выше, когда эффект конкретизации или абстрагирования признака вызывает явный сдвиг в лексическом значении прилагательного. В большинстве же случаев такого резкого сдвига не происходит, так что один и тот же признак с равным успехом воплощается в обеих конкурирующих формах. Но и в этих случаях воплощаемый признак получается не совсем "один и тот же". Например, тяготение к аналитической абстрактности, исходящее из формы КФ, может придавать даже образно представимому признаку оттенок всеобщности, освобождая его от связи с определенной, конкретно представимой ситуацией: *Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии! Чуден Днепр при тихой погоде* (Н. Гоголь).

Сравним выражение типа *Погода чудная*, где отношение к предмету приобретает характер дейктической непосредственности.

В этом случае определяющую роль играет не характер самого признака как такового, но скорее характер подразумеваемой ситуации: ее конкретность, непосредственная заданность (делающая естественным "указательный" языковой жест), либо, напротив, обобщенность, возвышающаяся над конкретно представимой картиной.

Однако и характер ситуации не является конечным фактором, диктующим выбор формы прилагательного, и поэтому не всегда определяет результат такого выбора. Естественное тяготение более конкретных и осязаемых смыслов к ПФ и более обобщенных и абстрагированных смыслов к КФ может перекрываться более сильным влиянием, исходящим от стиля и жанра сообщения. Возведение высказывания в “высокий” жанровый модус, сопровождаемое афористической отточенностью его формы, означает, что смысл данного высказывания не ограничивается одним конкретным актом сообщения, но апеллирует к более широкому и абстрактному адресату. Высказывание приобретает характер торжественной книжности, либо поэтической приподнятости, либо аподиктической категоричности. На этих стилевых “подмостках” высказывание как бы возвышается над эмпирической конкретностью, даже если его непосредственный смысл относится к определенной, конкретно представимой ситуации: *Ты бледен, речь твоя сурова* (А. Пушкин). *Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу, И звезда с звездою говорит* (М. Лермонтов).

“Перевод” такого рода высказываний в модус эмпирически конкретного, непринужденного контакта между говорящими даст выражения типа *Какой ты бледный! Ночь совсем тихая!* Сравним пример из Маяковского, где традиционно поэтический пейзаж подается с нарочито непринужденной интонацией, лишенной “литературности”; этой стилевой установке соответствует появление ПФ: *Будто бы вода — давайте мчать болтая, Будто бы весна — свободно и раскованно! В небе вон луна такая м о л о д а я, Что ее без спутников и выпускать рискованно.*

Итак, большая или меньшая образная воплощаемость признака, более или менее конкретный или обобщенный характер ситуации, наконец, более непосредственный либо книжно “сублимированный” модус сообщения, — таковы три оси смысловых тяготений, взаимодействие которых определяет вектор выбора одной из конкурирующих форм прилагательного. Результирующий эффект почти никогда не бывает полностью “гарантирован”, потому что он не зависит исключительно от одного из этих факторов. Если один из признаков

выражен более явно, недвусмысленно увлекая к определенному выбору, весомость других признаков соответственно снижается, они как бы отступают на второй план. Чем ярче выражено смысловое тяготение в сторону выбора одной из конкурирующих форм, тем большую вариативность стилистических условий может вместить такой выбор; если же смысловой фактор выражен не так отчетливо, то стилистический характер высказывания выступает на первый план в качестве определяющего критерия выбора.

Например, такие выражения, как *Человек он был простой. Голос у него был негромкий и приятный*, по самой сути обозначаемой ситуации тяготеют к выбору ПФ. Поэтому стилистический спектр их употребления относительно широк и свободен — от непринужденного разговора до беллетризованных форм повествования. С другой стороны, КФ, будучи применена к такого рода ситуациям, вызывает эффект нарочитого повышения стиля, даже ходульности. КФ в этом случае оказывается возможной только тогда, когда стилистическое “повышение” достаточно резко выражено, чтобы перекрыть конкретность и предметность самого признака (ср. отзыв о Ленине в очерке М. Горького, произносимый неким анонимным “рабочим”: *Прост, как правда*).

Однако чем более абстрактным и/или “высоким”, интеллектуально или поэтически сублимированным по своему значению является признак, тем с большей естественностью допускает он воплощение в КФ, тем, соответственно, свободнее становятся стилистические условия употребления этой формы. В частности, переносное употребление признака ‘простой’, о котором говорилось выше, возможно с КФ и в непринужденной речи: *Ну и прост же ты, братец!* (то есть ‘глуп, наивен’). Соответственно, такой признак оказывается труднее воплотить в ПФ. В этом случае сужается стилистический спектр ПФ: она может появиться только в подчеркнуто непринужденной, даже нарочито непритязательной речевой ситуации. Так, печать явной разговорности лежит на выражении *Эта книга, действительно, прекрасная*; без вставной конструкции, подчеркивающей “импровизационность” фразы, ее трудно было бы употребить даже в разговорной речи. Но уже

выражение *Погода была прекрасная* обладает более широким стилистическим спектром употребления: от разговорной речи до литературного повествования. Различие состоит в том, что феномен ‘прекрасной погоды’ отличается большей образной осязаемостью, чем феномен ‘прекрасной книги’. В первом случае более благоприятные смысловые предпосылки употребления ПФ допускают большую гибкость стилистических условий; во втором — употребление ПФ оказывается возможным лишь при условии резкой стилистической маркированности, перекрывающей тяготение смысла ситуации к КФ.

2. Позиция говорящего

Вернемся к исходному тезису о том, что КФ задает модус “суждения” о предмете; ПФ — модус “представления” предмета. Это различие определяет разницу в самоощущении говорящего, в его отношении к предмету своего высказывания. Модус суждения определяет стремление к четкости, “точности”, аподиктичности; модус представления, напротив, тяготеет к импрессионистичности. Поэтому всякое “уточнение” вводимого признака, обставление его квалифицирующими ограничениями (прямо упоминаемыми либо подразумеваемыми), расширяет возможности употребления КФ, и напротив, подчеркивание неточности, субъективной приблизительности и “смазанности” признака повышает вес ПФ.

Например, выражения *Он серьезно болен*, *Он болен эпилепсией*, *Он был болен два года назад* практически не допускают возможности употребления ПФ. Последняя естественным образом появляется в высказываниях типа *Он ведь больной*, *Он совсем больной* — где феномен ‘болезни’ никак не квалифицируется, растворяясь в неопределенно-целостном образе.

По этой же причине КФ явно предпочитается в выражениях с подразумеваемым объектом, даже если последний прямо не назван: *Он виноват* [в чем, перед кем]; *Как похож* [на кого]; *Ты, кажется, влюблен* [в кого]. Аналогичная тенденция действует в выражениях с уточняющим обстоятельством: *Дико-*

прекрасен гремящий Терек в Дарьяльском ущелии (А. Бестужев-Марлинский).

В эту же категорию попадают все выражения со страдательным причастием: *написан, сломан, рассказан* [кем]. Во всех подобных случаях смысл ситуации предполагает некое ограничение, определенное условие, которым обставляется наличие данного признака. Такой квалифицирующий, аналитический подход к ситуации естественно укладывается в смысловую перспективу, задаваемую КФ.

В этих неблагоприятных для нее смысловых условиях ПФ может появиться только с сильной стилистической компенсацией — на фоне явной сниженности, даже субстандартности речи. Ср. знаменитый возглас Катюши Масловой в “Воскресении”: *Не виноватая я!* — служащий выразительным знаком ее “низкого” социального статуса.

С другой стороны, добавление выражений, создающих эффект приблизительности, импрессионистической субъективности, таких как *как будто, словно, как, как бы*, резко повышает тяготение в сторону ПФ: *Ты словно мертвый, Этот домик как нарисованный, Платье как будто вырезанное из модного журнала*. В последнем случае, как видим, даже наличие причастия и уточняющего объекта не препятствует появлению ПФ, поскольку выражение *как будто* “аннулирует” (или, по крайней мере, смягчает) их квалифицирующий эффект; все же наличие этих противоположно тяготеющих факторов создает в данном случае возможность и для употребления КФ: *Платье как будто вырезано....* Эта возможность практически отсутствует в предыдущих двух примерах, не содержащих такого противовеса.

Некоторые оценочные слова и обстоятельственные выражения могут с равным успехом инкорпорироваться в состав выражений с ПФ и КФ. В этом случае они приобретают различные оттенки смысла, адаптируясь к двум разным смысловым перспективам. Так, в выражении *Ты очень глупый* оценочное слово служит скорее для создания эмоциональной эмфазы, чем для обозначения степени признака в собственном смысле; в отличие от этого, выражение *Он очень глуп* подчеркивает именно высокую степень признака. Это различие в роли ква-

лифицирующего слова наиболее ярко выступает в случае “пустых” квалификаторов, присутствие которых в высказывании играет чисто риторическую роль: *так* — в случае с КФ и *такой* — в случае с ПФ. *Он так болен!* указывает (чисто риторически, без какого-либо определенного содержания), что речь идет о ‘высокой степени’ (признака ‘болезни’; *Он такой больной!* усиливает (также чисто риторически) эмоциональную окрашенность и “наглядность” образа. (Ср. широкое употребление слова *такой* с целью создания эффекта наглядности в разговорной речи: *Пойдете направо /там будет дом/ деревянный такой* [PPP 1973: 271]).

Аналогичное различие интерпретирующей перспективы проявляется и в отношении уточняющих обстоятельств времени и места. Выражения, содержащие указание на конкретный, легко обозримый отрезок времени в настоящем или прошлом, не препятствуют употреблению ПФ. В этом случае, однако, они не столько уточняют время и место, сколько придают ситуации черты непосредственной данности, т.е. адаптируются к смысловой перспективе, задаваемой ПФ. Высказывание *Ты вчера был невесел* определяет отрезок времени, в течение которого признак наличествовал у субъекта; утверждается, что субъект был таков именно ‘вчера’ (‘в отличие от его состояния сегодня’, или ‘в отличие от его обычного состояния’). Но в высказывании *Ты вчера был невеселый* обстоятельство времени указывает не столько на продолжительность действия признака, сколько на время, в течение которого говорящий воспринимал предмет своего высказывания в этом состоянии. Сколько времени субъект находился (объективно) в этом состоянии — в данном случае несущественно; важно, что говорящий “застал” его в этом состоянии, воспринял этот его образ ‘вчера’.

Выражения с ПФ и КФ по-разному реагируют на ситуацию, когда субъекту одновременно атрибутируется несколько признаков, выраженных сочинительной цепочкой прилагательных. Такая ситуация оказывается благоприятной для ПФ: повышается вероятность ее употребления, расширяется (от чисто разговорного в сторону нейтрального и даже книжного) ее потенциальный стилистический спектр. И напротив, воз-

возможность выбора КФ снижается и приобретает резко маркированный характер. Например, такие выражения с единственным прилагательным, как *Ночь была холодная* и *Ночь была холодна*, составляют смысловую и стилистическую оппозицию с приблизительно равноценными членами: первый тяготеет к несколько большей разговорности и непосредственности, второй — к книжности и аподиктичности. Однако в такой паре выражений, как *Ночь была тихая, светлая и холодная* и *Ночь была тиха, светла и холодна*, равновесие явно нарушается в пользу первой альтернативы. Первое предложение воспринимается как “нормальный”, наиболее вероятный выбор, вполне уместный не только в разговорной речи, но и в более книжно окрашенном повествовании; второе представимо только в качестве “крайнего случая”: при наличии сильной смысловой эмфазы, либо в условиях возвышенного поэтического стиля.

Это различие объясняется тем, что множественность атрибутируемых признаков усиливает ощущение “неточности”, импрессионистической приближенности в характеристике предмета. Чем больше признаков приписывается предмету, тем труднее представить их раздельно, в качестве дискретных параметров, характеризующих предмет. Различные признаки накладываются друг на друга, сливаясь в единое комплексное представление. Это ощущение, что мы не столько характеризуем предмет с разных сторон, сколько получаем его комплексный образ, находит свое естественное выражение в предпочтении ПФ. С другой стороны, употребление подряд нескольких КФ делает смысловую фактуру слишком напряженной: слишком много суждений о предмете оказывается “упаковано” в оболочке одного высказывания. Такое высказывание приобретает оттенок крайней резкости и категоричности. Характерен следующий пример из Тургенева (“Бретер”)¹¹: *Лучков неловок и груб, — с трудом выговорил Кистер, — но ... — Что “но”? Как вам не стыдно говорить “но”? Он груб и неловок, и зол, и самолюбив.*

¹¹ Этот пример приводит (по другому поводу) [Виноградов 1947: 715].

3. Эвристическая установка высказывания

Существенным фактором, определяющим динамику выбора формы, является также представление о “новизне” либо, напротив, “заданности” (самоочевидности) мысли, выраженной в высказывании. Высказывание с КФ приписывает предмету определенный признак, “сообщает” о наличии у него этого признака; высказывание с ПФ “утверждает” предмет в определенном образе с целью вызвать соответствующий образ у слушателя. В силу этого чем более самоочевиден, непосредственно опознаваем признак, тем с большей естественностью он подается в модусе утверждения-указания, свойственном ПФ; и напротив, чем в большей мере наличие признака является предметом рассуждения, тем более повышается вероятность и необходимость употребления КФ.

Эта разница с особенной наглядностью проявляется в научной речи, где различие между постулируемым, принимаемым как данность, исходным определением и таким, которое является результатом логического вывода, имеет большое значение и проводится с полной отчетливостью. Определения первого рода неукоснительно выражаются с помощью ПФ, второго — с помощью КФ. Когда мы говорим: *Эти прилагательные — краткие, Этот угол — прямой*, — мы ничего не сообщаем о предмете; мы просто указываем на наличие предмета ‘краткое прилагательное’ или ‘прямой угол’. Высказывание такого рода есть акт “узнавания” предмета (‘я узнаю эту грамматическую форму: это краткое прилагательное’, или ‘я знаю из условия задачи, что это прямой угол’), а не акт его “познавания”. Но утверждение типа *Эти треугольники подобны* выражает результат некоторого рассуждения и в этом качестве требует КФ.

Только КФ в полной мере несет на себе предикцирующий фокус сообщения, то есть утверждает признак как “новое”. Этим обстоятельством объясняется легкость, с которой высказывания с КФ могут подвергнуться инверсии, при которой имен-

ное сказуемое получает логическое ударение¹². *Велик, велик твой Бог, Россия!* (из патриотических стихов 1812 г.) *Горек чужой хлеб, говорит Данте, и тяжелы ступени чужого крыльца* (А. Пушкин). *Ох, полна, полна коробушка!* (Н. Некрасов). *Просты мои песни и грубы* (Д. Бедный).

Различие между познавательным и указательным характером высказываний с КФ и ПФ лежит в основе их двойственного отношения к временной протяженности признака. Мы могли уже убедиться, что обе формы способны обозначать как постоянный, так и переменный признак. Однако и это “постоянство”, и эта “переменность” имеют разный эвристический смысл в каждом из этих случаев.

Высказывание-рассуждение, относится ли оно к постоянному либо переменному свойству предмета, всегда имеет относительную ценность в том смысле, что на него можно возразить, его можно опровергнуть. Когда я говорю: *Эти треугольники подобны*, я высказываю суждение, которое в эмпирическом смысле не имеет временных ограничений; его эвристическая относительность заключается, однако, в том, что я могу ошибаться, мне могут возразить: *Нет, эти треугольники не подобны*.

С другой стороны, высказывания с ПФ могут относиться и к постоянным свойствам предмета, неотъемлемым от самого его существования, и к мимолетным, переходящим и субъективным впечатлениям-ощущениям. Но в обоих этих случаях высказывание служит как бы “снимком” с предмета, воссоздающим его целостный облик; сколько бы других снимков-впечатлений того же предмета ни было предложено — они не отменяют данной, однажды запечатленной картины. В этом смысле высказывание с ПФ имеет абсолютную эвристическую ценность, даже если оно относится к заведомо мимолетному и поверхностному ощущению. Сказать об одном и

¹² Казавчинская [1988: 98] интерпретирует это явление как знак того, что КФ свойственна функция неопределенного артикля. Как кажется, речь в этом случае должна скорее идти о более общей эвристической установке, по отношению к которой и неопределенность, и функция “нового”, и логическая эмфаза служат лишь окказиональными проявлениями.

том же лице: *Он глуп* и *Он умен*, — значит произнести два несовместимых суждения, одно из которых должно быть отвергнуто как ложное. Но высказывания *Какой ты глупый!* и *Какой ты умный!*, обращенные к одному лицу, не содержат в себе противоречия: они запечатлевают два разных “облика”, в которых субъект предстает в различных ситуативных и эмоциональных условиях.

Можно утверждать, что различие между высказываниями с ПФ и КФ лежит в эпистемологическом, а не эмпирическом плане; их отличительным свойством является, соответственно, эвристическая абсолютность и относительность, а отнюдь не эмпирическое постоянство или временность, объективность или субъективность, определенность или неопределенность вводимого признака. Высказывания с ПФ по сравнению с КФ и более непосредственны, и более “абсолютны” — как абсолютно всякое указание на предмет по отношению ко всякому описанию или суждению о предмете.

Различие в эвристическом статусе высказываний с ПФ и КФ определяет также различие той роли, которую они играют в развертывании сообщения. Высказывание с КФ содержит в себе нечто такое, о чем говорящий считает необходимым “сообщить”: что-то объяснить, доказать, на что-то возразить. В этом смысле у него всегда имеется реальная или подразумеваемая предыстория — то исходное состояние знания или суждения о предмете, на фоне которого данное высказывание выступает в качестве “нового” сообщения. Но высказывание с ПФ утверждает образ-снимок предмета как данность, которую слушателю остается лишь принять.

Например, высказывание *Чемодан тяжел* получает осмысление на фоне той или иной презумпции: мы выбираем чемодан в магазине и считаем, что этот чемодан не подходит — слишком “тяжел”; или: мы укладывали вещи и, очевидно, их оказалось больше, чем мы предполагали — чемодан “тяжел”; или: я не хочу, чтобы вы брали этот чемодан, я сам его понесу — он “тяжел”, и т.п. Наше высказывание занимает свое место в коммуникативном “сюжете”, состоящем из подразумеваемых исходных интенций, их подтверждения, либо отрицания, либо уточнения в данном высказывании, и вытекающих

из этого потенциальных следствий. Но высказывание *Чемодан тяжелый* прежде всего передает “ощущение”, возникающее непосредственно в момент контакта с предметом.

Аналогично, например, фраза *Эта задача трудна* может иметь различный смысл в зависимости от различных презумпций: ‘трудна по сравнению с другими предложенными задачами’, ‘трудна для вашего уровня подготовки’, ‘требует повышенного внимания’; но фраза *Эта задача трудная* имеет “самодостаточный” смысл: она передает непосредственное впечатление говорящего, сообщает о “трудной задаче” как о непосредственно данном факте.

Высказываниям с ПФ свойственна не дифференцирующая, а интегрирующая коммуникативную роль функция. В случае с КФ в центре внимания оказывается изменение состояния слушателя, который “узнал” нечто о предмете, в случае с ПФ — о т о ж д е с т в л е н и е представления-переживания, получаемого слушателем, с тем, которое испытывает говорящий. В первом случае предшествующее состояние изменяется, и именно этот переход от прежнего суждения о предмете к новому составляет подразумеваемый “сюжет” данного сообщения; во втором — предшествующее состояние, каким бы они ни было, отступает перед непосредственной наглядностью данного впечатления-состояния. Высказывание с ПФ вкрапляется в речь в качестве статического образного “пятна”. Оно может стать отправной точкой, фоном для последующих суждений о предмете, но само оно как бы не имеет предыстории, появляясь всякий раз как непосредственная данность. Эту роль высказываний с ПФ можно сопоставить с функцией статической исходной картины, выполняемой выражениями с несовершенным видом, в отличие от сюжетно значимых событий, выражаемых с помощью совершенного вида.¹³

¹³ По вопросу о повествовательной функции вида существует обширная литература. Назовем лишь основополагающую работу, в которой была поставлена данная проблема: [Forsyth 1970: 60–70].

4. Взаимоотношения с адресатом

Различие позиции, занимаемой говорящим по отношению к адресату в соответствии с выбором КФ либо ПФ, можно описать как различие между объективирующей интенцией, с одной стороны, и апеллятивной, эмпатической — с другой. В первом случае, как мы видели, говорящий имеет в виду определенную презумпцию, по отношению к которой может быть осмыслено его высказывание. Но эта презумпция подразумевается как объективное знание о предмете, не зависящее от “ощущения” адресата. В этой ситуации адресат сообщения выступает в качестве абстрактной функции, а не “лица”; все, что от него требуется — это обладать надлежащим предварительным знанием, позволяющим адекватно осмыслить данное сообщение. Заметим, что само построение такого рода сообщения представляется как целенаправленный акт мысли говорящего; но коль скоро этот акт совершен, полученное высказывание существует “объективно” в определенном смысловом пространстве. Его принятие адресатом определяется исключительно принадлежностью последнего к данному смысловому пространству, то есть его знакомством со всей необходимой фоновой информацией.

В отличие от этого, высказывание с ПФ не нуждается в фоновой предыстории, оно указывает на впечатление или ощущение. Но именно поэтому такое высказывание нуждается в эмпатическом соучастии говорящего; принять высказывание с ПФ — значит разделить с говорящим испытанное им впечатление. Такая ожидаемая реакция предъявляет определенные требования к адресату как личности. Его объективная, чисто функциональная подготовленность к роли адресата (владение необходимой фоновой информацией) оказывается недостаточной, да и не столь существенной. Важнее то, что говорящий считает собеседника лицом, способным разделить его впечатление и ощущение. Если высказывание с КФ всегда так или иначе подразумевает, “что знает” или “что думает” адресат, то высказывание с ПФ так или иначе подразумевает, “кто таков” адресат, как относится к нему говорящий. Это соотношение, разумеется, остается в силе не только в случае

конкретного собеседника, но и в ситуации, в которой проецируется абстрактный, обобщенный адресат. И в этом случае сохраняется различие между подразумеваемым адресатом, обладающим должной квалификацией, и адресатом — потенциальным союзником говорящего, с которым он может “поделиться” своим высказыванием.

Соотношение высказываний с ПФ и КФ несколько напоминает соотношение обращений на ‘ты’ и на ‘Вы’: ‘ты’ предполагает личное отношение к собеседнику, ‘Вы’ — чисто функциональную роль, которая может быть заполнена любым адресатом. Неудивительно, что существует довольно сильная корреляция в употреблении ‘ты’ и ПФ, с одной стороны, ‘Вы’ и КФ, с другой. Так, в знаменитом стихотворении Пушкина обращение на ‘Вы’ сочетается, вполне закономерно, с КФ: *И говорю ей: как вы милы! И мыслю: как тебя люблю!*

Однако в ситуации интимного обращения (в письме к жене) Пушкин пользуется обращением на ‘ты’ — и ПФ: *Какая ты умненькая, какая ты миленькая! какое длинное письмо! как оно дельно!*

(Переход от чисто эмоциональной похвалы к оценке “деловых” планов жены в устройстве хозяйства отмечается появлением КФ).

Высказывания с ‘ты’ самой своей формой программируют прямой, интимно-непринужденный контакт с адресатом. В этом апеллятивном и стилевом пространстве выбор ПФ оказывается полностью естественным. Отклонение от этого выбора может произойти лишь в “особых случаях”, при наличии очень резко выраженных противодействующих факторов.

А. М. Пешковский в свое время подметил, что выражение *Ты глуп* звучит как оскорбление, но реплика Ирины в “Трех сестрах” Чехова: *Ты, Машка, глупая*, — не только не заключает в себе ничего оскорбительного, но напротив, подчеркивает интимность контакта [Пешковский 1957: 225]. К этому можно добавить, что и выражение *Ты очень умен* звучит если не оскорбительно, то во всяком случае резко и сухо; ожидается высказывание типа: *Ты очень умен, но...* Дело тут в том, что КФ с его объективирующим характером плохо сочетается со смысловым и стилистическим полем высказываний с ‘ты’.

В условиях прямого и очевидного контакта, задаваемого местоимением ‘ты’, установка на “объективированность” суждения осмысливается как резкий и преднамеренный отстраняющий жест: говорящий произносит свое суждение “в лицо” адресату, однако без всякой апелляции к его участию.

Противоположный эффект возникает в высказываниях с ‘Вы’ (в значении вежливого обращения). Обращение на ‘Вы’ задает модус формального, безлично-объективированного отношения к адресату. В этом смысловом поле высказывания с КФ оказываются естественным выбором. *Ты сегодня весел, Ты болен* звучит как несколько резкое по тону суждение — безапелляционный приговор, в подтексте которого угадывается та или иная конфронтация с собеседником (он забыл о том, как еще вчера жаловался на жизнь, он отказывается обращаться к врачу и т.п.). Но высказывания *Вы сегодня веселы, Вы больны* оказываются более нейтральны по тону; эффект объективированного суждения, задаваемый КФ, не имеет здесь такого подчеркнутого, нарочитого смысла, поскольку он не противоречит формальному модусу взаимоотношений с адресатом, определяемому обращением на ‘Вы’. Напротив, в этих условиях выбор ПФ будет резко маркирован, создавая ощущение повышенной интимности; эффект получается такой, как будто прямая апелляция к адресату как бы пробивается сквозь оболочку формальных отношений, заданную обращением на ‘Вы’: *Вы сегодня что-то невеселый*. Весьма характерен в этом отношении следующий пример из Бабея (“Гюи де Мопассан”): *Я потянулся к Раисе и поцеловал ее в губы. Они задрожали и вспухли. — Вы з а б а в н ы й! — прорычала она.*

На первый взгляд кажется, что идее об апеллятивном потенциале ПФ противоречит тот факт, что в высказываниях в форме императива явно предпочитается КФ: *будь счастлив, будь осмотрителен* [Nichols 1981: 305]; ведь императив наиболее эксплицитным образом указывает на взаимодействие говорящего и адресата. Однако это взаимодействие принимает характер поляризации, даже конфронтации; форма императива недвусмысленно указывает на различие ролей говорящего и адресата: один высказывает приказание, просьбу, совет, дру-

гой должен им следовать. Это разделение ролей противоречит интегрирующему, эмпатическому модусу, исходящему от ПФ, поэтому предпочтение в этом случае КФ оказывается вполне логичным.

Что касается предложений с субъектом в третьем лице, то здесь объективирующая установка КФ и апеллятивная направленность ПФ не выражаются прямо, но подразумеваются, окрашивая определенным образом смысловую перспективу и стилевую тональность высказывания. Можно сказать, что высказывания с КФ подчеркивают отстраняющий, экстернализирующий потенциал, свойственный форме третьего лица. В этом случае все три участника коммуникации — говорящий, адресат и предмет высказывания — выполняют каждый свою функцию, раздельно и независимо от другого. Но в выражениях с ПФ предмет высказывания как бы играет роль медиума, через посредство которого между говорящими возникает эмпатическая связь.

Так, высказывание *Он жив!* может иметь разный смысл в зависимости от смыслового фона: простое утверждение (в ответ на вопрос), возражение, удивление, радость и т.д. Некоторые из этих возможных интерпретаций включают в себя и эмоциональное отношение говорящего к сообщаемому факту, и определенную позицию по отношению к собеседнику. Но эти эмотивные и апеллятивные обертоны не обязательны: они появляются лишь как результат осмысления высказывания в определенном контексте; первичным его содержанием является “утверждение”, которое может быть по-разному (в том числе и эмоционально) осмыслено в разных ситуациях. Но высказывание *Он живой!* по самой своей сути неотъемлемо от непосредственной реакции говорящего и того, что он рассчитывает на такую же реакцию со стороны адресата. Какой бы конкретный смысл ни имело это высказывание в разных контекстах — радость, изумление, сострадание, ужас и т.д., — неизменным остается стремление говорящего передать адресату возникший у него импульс-ощущение.

Характерно с точки зрения подразумеваемого отношения к адресату соотношение следующих двух предложений: *Дело я с н о е — вот вам карта, Это — Америка, а это — мы*

(Маяковский, “Христофор Колумб”); *“Милостивый государь... — сказал Ковалев с чувством собственного достоинства, — я не знаю, как понимать слова ваши ... Здесь все дело, кажется, совершенно очевидно...”* (Н. Гоголь, “Нос”).

В первом случае (Колумб стремится убедить купцов дать ему денег на экспедицию) подчеркивается апеллятивное давление, оказываемое говорящим на собеседника; предмет речи как бы приближается к собеседникам, его “ясность” должна им быть очевидной. Во втором — герой явно затрудняется в обращении к собственному носу; при всей объективной “очевидности” его дела ему не ясно, каким образом он может адресоваться с ним к данному собеседнику. Это различие апеллятивного жеста, в одном случае подчеркнуто открытого, в другом — затрудненного и неуверенного, передается контрастными выражениями с ПФ и КФ: *дело ясное, но дело очевидно.*

Подведем итог. Мне кажется, что предпринятый анализ позволяет сделать некоторые выводы относительно общей природы того, что мы называем “грамматическим значением”, — тех смысловых ценностей, которые определяют употребление и выбор конкурирующих языковых форм. Опыт работы с целым рядом явлений грамматического строя русского языка (таких как вид, время, употребление нулевой и ненулевой связки, порядок слов) все более убеждает меня в том, что грамматическое значение не имеет какой-либо определенной субстанциальной природы, если понимать под субстанцией не только конкретное вещественное значение, но и понятие любой степени абстрагированности, если только оно сформулировано в виде твердого и конечного концептуального “предмета”. Степень сложности грамматического значения более высока: оно не вмещается в рамки какого-либо единого, пусть даже в высокой степени абстрагированного, понятия. Семантическое поле, в котором развертывается (в описанном выше смысле) употребление той или иной языковой формы, принципиально не сводимо к одному понятию: это именно поле, смысловой континуум. В силу этого “идея” грамматической формы представляет собой скорее некую

общую концептуализирующую перспективу, своего рода смысловой вектор, чем твердый концепт.

Понимаемая таким образом “идея” грамматической формы имеет скорее м е т а ф и з и ч е с к у ю, чем логическую или вещественную природу¹⁴. Она представляет определенное “воззрение” на мир, определенный способ видения, потенциально способный вместить самые разнообразные (в конечном счете, едва ли не любые) предметы и понятия, — а не сами эти предметы и понятия как таковые, в каком-либо инвариантном обобщении. Такого рода концептуализирующую перспективу можно описать, но едва ли возможно твердо и окончательно сформулировать. Эмфаза в описании переносится с вопроса “что?” на вопрос “как?”: не “ч т о з н а ч и т” данная форма, но к а к она интерпретирует, в какой перспективе представляет тот бесконечный континуум значений, который разворачивается в бесконечных актах языкового употребления.

ЛИТЕРАТУРА

- Виноградов В. В. 1947. — Русский язык (Грамматическое учение о слове). Москва.
- Грамматика 1954. — Грамматика русского языка, т. II. Синтаксис. Москва.
- Исаченко А. В. 1963. — Трансформационный анализ кратких и полных прилагательных // Исследования по структурной типологии. Москва. С. 61–93.
- Казавчинская Н. А. 1987. — О состоянии изучения функций кратких и полных форм прилагательных в позиции предиката // Учен. записки Тартуского университета. Вып. 760. С. 120–128.
- Казавчинская Н. А. 1988. — Об артиклевых функциях кратких и полных форм прилагательных в современном русском языке // Учен. записки Тартуского университета. Вып. 825. С. 93–100.

¹⁴ См. подробнее [Gasparov 1990].

- Казавчинская Н. А. 1990. — Оценочные функции качественных прилагательных в краткой форме // Учен. записки Тартуского университета. Вып. 896. С. 90–97.
- Ломтев Т. П. 1956. — Очерки по историческому синтаксису русского языка. Москва.
- Пешковский А. М. 1956. — Русский синтаксис в научном освещении. Изд. 7-е. Москва.
- PPP. 1973. — Русская разговорная речь. Москва.
- Шведова Н. Ю. 1952. — Полные и краткие формы имен прилагательных в составе сказуемого в современном русском литературном языке // Ученые записки МГУ. Вып. 150. (Русский язык). Москва. С. 73–132.
- Babby L. H. 1975. — A transformational Grammar of Russian Adjectives. The Hague — Paris: Mouton.
- Forsyth J. 1970. — A Grammar of Aspect: Usage and Meaning in the Russian Verb. Cambridge: At the University Press.
- Gasparov B. 1990. — Notes on the “Metaphysics” of Russian Aspect // Verbal Aspect in Discourse. Ed by Nils B. Thelin. Amsterdam — Philadelphia: John Benjamin Publishers. P. 191–212.
- Gustavsson S. 1976. — Predicative Adjectives with the Copula *byt'* in Modern Russian. Stockholm.
- Nichols J. 1981 — Predicate Nominals: A Partial Surface Syntax of Russian. Berkeley — Los Angeles — London: University of California Press.

ON THE NATURE OF GRAMMATICAL MEANING: SHORT AND LONG ADJECTIVAL FORMS (SF & LF)

S u m m a r y

There exist several hypotheses concerning conditions under which LF vs. SF can be used as nominal predicates. All of them are trying to explain all available data by a single semantic distinctive feature (temporary vs. permanent, definite vs. indefinite, etc.) that would define the “general meaning” of SF and LF as a binary opposition. In this article an attempt is made to describe relations between the alternative adjectival forms as a field comprising a multitude of different, although interconnected, semantic, stylistic and appellative values that cannot be reduced to a single generalized concept. Any change of conditions under which an

adjectival predicate is used: its lexical meaning, other grammatical forms used in the sentence (such as tense, number and animate vs. inanimate character of the subject), general thematic sphere of the utterance, its features of genre and style, emotional overtones, projected relation between the speaker and addressee, topic-comment structure-affects the choice between SF and LF and the resulting meaning. A change of any of those parameters alters the whole configuration of the field of multiple factors involved in this process. The article follows in some detail this process along four major constellations of relevant parameters: 1) thematic character and genre of the communication; 2) speaker's perspective; 3) heuristic goal of the communication; 4) relations between the speaker and addressee. The process by which speakers are making decision in every particular case and evaluating the resulting effect can be compared with mixing various colors on the pallet in order to obtain a sought visual effect, rather than with a fixed procedure governed by algorithmical rules. This dynamic approach may be suggested as an alternative to the conventional strategy of describing grammatical categories as a hierarchy of generalized features.

УСЛОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ С ГЕРУНДИВОМ В ЭСТОНСКОМ ЯЗЫКЕ И ИХ РУССКИЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

К. Кару

В русской и эстонской грамматиках традиционно выделяются условные конструкции (УК) — сложноподчиненные предложения с условным союзом. Эти структуры употребляются регулярно и составляют ядерную часть ФСП обусловленности. Однако существует целый ряд маргинальных УК, которые употребляются менее регулярно, но в некоторых случаях могут выражать условную семантику. К числу маргинальных УК относятся, в частности, осложненные простые предложения в русском и так называемые сокращенные предложения в эстонском языке. Осложняющей предложению формой может быть либо причастие, либо деепричастие. В эстонском языке наблюдается сходная картина: центральным словом в сокращенном предложении с условным значением может быть неспрягаемая форма глагола — герундив (*des-vorm*), абессив супина (*mata-vorm*) или страдательное причастие прошедшего времени на *-tud*. Первые две группы могут быть объединены в одну, поскольку абессив супина — *mata-vorm* — в эстонской грамматике принято считать негативным соответствием форме на *-des* [Erelt 1987: 49]. Напр.: *Kaugemale tulevikule mõeldes näis ettepanek meile vastuvõetav* — *Kaugemale tulevikule mõtlemata näis ettepanek meile vastuvõetav*. Таким образом, можно сказать, что в оппозиции конструкций с *-des* и *-mata* маркированным оказывается второй член как содержащий семантику отрицания уже в своей структуре, что регулярно находит отражение в русских эквивалентах.

Среди выделенных маргинальных УК чаще всего встречаются предложения с деепричастием (герундивом); причастия с большим трудом принимают условную семантику как в

русском, так и в эстонском языке. Эстонские формы на *-mata* в условном значении тоже относительно малочисленны.

В данной работе мы подробнее остановимся на русском деепричастии и эстонском герундиве и его отрицательном соответствии — супине.

Структура герундивных придаточных сокращенных (термин Э. Ууспылд [Uuspõld 1975: 31]). В состав герундивных придаточных предложений входит герундив со своими распространителями. У герундива есть две формы времени: настоящее и прошедшее, у последнего в свою очередь два залоговых варианта — личный и неопределенно-личный залого. Герундив прошедшего времени — это аналитическая форма глагола, которая состоит из герундива вспомогательного глагола *olema* и причастия на *-nud, -tud* в зависимости от залога. Вспомогательный глагол может опускаться: *Kõik südamelt ära öelnud, hakkas tal kergem*.

Тип условия. В грамматиках традиционно выделяются две разновидности условного значения: потенциальное условие, которое может осуществиться в будущем, и нереальное условие, которое осуществиться не может. Это соотношение прослеживается как в ядерных, так и в периферийных УК. Несоосуществимое условие маркировано формой сослагательного наклонения финитного глагола. Напр.: *Ja saamata vastust ohkaks ainult. И не получив ответа, лишь вздохнул(а) бы. Tavaloomikast lähtudes peaks Tiit Kubri ise elamisluba taotlema* (Luup 24.06.1996). *Исходя из повседневной логики, Тийт Кубри должен был бы сам ходатайствовать о получении вида на жительство.*

Таксис. С точки зрения выражения одновременности—неодновременности сокращенные предложения с супином и герундивом отличаются друг от друга. Неспрягаемая форма глагола выражает относительное время. Чаще всего она указывает на действие, одновременное с действием финитного глагола. Напр.: *Neid kontsepte arvestamata on tänapäeval lootusetu konkureerida toodanguturul* (Т. Bachmann). *Не учитывая эти концепты, невозможно конкурировать на рынке товаров. Kaustu sirvides avastasime alles möödunud aastal ühe täiesti mõistetamatu juhtumi* (Luup 05.08.1996). *Перелистывая папки,*

мы только в прошлом году нашли один совершенно непонятный случай.

Предложения с герундивом, как отмечается в Эстонской грамматике, могут выражать также значение непосредственного предшествования или следования за действием финитного глагола [ЕКГ 1993, 2: 263]. Для конструкций с супином это не характерно, они выражают лишь отношения одновременности. Однако на употребление герундивных придаточных сокращенных существуют ограничения. В условном значении герундив никогда не обозначает последующее действие. Семантика условия, передаваемая придаточной частью прототипической УК, в случае “сокращения” предложения содержится в герундиве. Логически условие может либо предшествовать следствию, либо быть с ним одновременным, но не следовать за ним. Поэтому герундивные придаточные сокращенные, в которых действие герундива следует за действием основного глагола, условную семантику передавать не могут.

Аспектуальность. У деепричастия есть две видовые формы, обе они функционируют в осложненных предложениях со значением условия, но в разных конструкциях. Так, деепричастие СВ представлено только в предложениях, главная часть которых отнесена к плану будущего времени, то есть в таких, которые более полно передают условную семантику (см. также [Храковский 1994]). Эти конструкции отличает еще один признак: они не осложнены узуальной повторяемостью, что характерно для УК с деепричастиями НСВ. СВ выражает таксисные отношения неодновременности. В русском языке встречаются предложения с деепричастием СВ, в которых происходит нейтрализация видовой оппозиции. Они могут выражать повторяющиеся действия [Кюльмоя 1985: 15]. Такие предложения не локализованы во времени, в них стираются различия между условным и таксисным значениями: *Снявши голову, по волосам не плачут.*

Интерес представляют эстонские предложения с герундивом, в которых морфологически не различаются ни вид, ни будущее время и которые, тем не менее, имеют разную аспектуальную характеристику и соответственно разное прочтение:

либо единичного, либо узуально повторяющегося действия. Аспектуальность в них выражена падежом прямого объекта, который имеет форму либо партитива, которому соответствует НСВ, либо генитива — с соответствием СВ. Ср.: *Ostes raamatu enne 31. märtsi saate tasuta lisaks vastavateemalise plakati. Купив книгу до 31-го марта, вы получите бесплатно и плакат. Ostes "Võideksit" toetate maanoorte haridust. Покупаая "Выйдекс", вы поддерживааете образование сельской молодежи.*

Субъект в герундивных придаточных сокращенных. В эстонской грамматике имеются глубокие исследования сокращенных предложений. Одним из первых можно считать работу Э. Ууспылд, опубликованную в 1966 году [Uuspõld 1966]. В ней рассматривается адвербиальное употребление герундива, супина в абессиве, а также причастий прошедшего времени личного и неопределенно-личного залога. Тот же автор в другой работе анализирует способы выражения агенса в предложениях с герундивом и устанавливает ряд ограничений. Так, в частности, если у герундива и основного глагола один агент, то он выражается существительным в составе главного предложения (*rõhilause*), если агенты разные — агентивным обстоятельством в генитиве, входящим в состав осложненного члена. Однако такая конструкция нормальна только для непременных глаголов [Uuspõld 1972, 108]. Эти ограничения действительно и по отношению к герундивным придаточным сокращенным в условном значении, хотя они в названной работе специально не рассматриваются.

Структурные особенности герундивных придаточных сокращенных с условным значением. Эстонские грамматисты [Uuspõld 1966, 1975; Erelt 1987] отмечали, что *des*-конструкция, относящаяся к глаголу-сказуемому главного предложения, выражает вторичное, сопутствующее действие. Таким образом, можно сказать, что ее основная функция — выражение таксисных отношений, и при трансформации в сложноподчиненное предложение мы получим конструкцию с союзом *kui* во временном значении; на русский язык такие предложения должны переводиться сложноподчиненным предложением с союзным словом *когда*.

В Эстонской грамматике говорится, что герундивные придаточные сокращенные могут иметь и условную семантику, но не сказано, чем именно она создается и есть ли структурные различия между условными и таксисными *des*-предложениями. Существуют лишь самые общие наблюдения, в которых констатируется различная возможность прочтения сокращенных предложений. Так, в Эстонской грамматике отмечается, что “в грамматическое значение осложняющего члена не входит временная, причинная или подобная конкретизация основного события. Но благодаря *естественной связи* (курсив мой — К. К.) между основным и сопутствующим событием, а также *в зависимости от контекста* (курсив мой — К. К.) осложняющий член может получать то или иное конкретное толкование и часто бывает возможна замена соответствующим придаточным предложением” [EKG 1993, 2: 264]. “Естественная связь” представляется достаточно неточным критерием. Контекст, конечно, часто снимает возможную неоднозначность предложения, однако в большинстве случаев достаточным оказывается минимальный контекст, само предложение, чтобы адресат мог интерпретировать конструкцию либо как условную, либо как таксисную.

Хотя, возможно, нет четкого алгоритма, все же имеются некоторые особенности структуры, позволяющие говорить об однозначной интерпретации герундивных придаточных сокращенных. Так, в частности, можно сказать, что в предложениях с условной семантикой финитный глагол не имеет формы прошедшего времени, в то время как в таксисных предложениях это нормально. Напр.: *Kui tegime remonti, aitas “Kodukiri” julgeid värvilahendusi leida, hiljem mõõblit muresedes leidsime siit palju põnevaid soovitusi. Когда мы делали ремонт, журнал “Кодукири” помог нам найти смелые цветовые решения, потом, при покупке мебели (=когда мы покупали мебель), мы нашли там много любопытных советов. Seaduseelnõu heaks kiites võttis Riigikogu osa vastutusest enda kanda (Luup 5.08.1996). Одобрив проект закона, Рийгикогу взял часть ответственности на себя.* Сказанное относится к предложениям, где выражено неповторяющееся, однократное действие. В итеративных конструкциях естественно употреб-

ление настоящего времени, не соотносящегося с моментом речи, в значении постоянного действия. Это же относится к состояниям, не ограниченным во времени. Ср.: *Meie andmetel on tüdrukud oma haigustest teadlikumad võrreldes poistega*. По нашим данным, девочки по сравнению с мальчиками больше осведомлены о своих заболеваниях.

Если же в неитеративном таксисном предложении основной глагол имеет форму настоящего времени, то она употреблена в непрямом значении. В частности, в таком примере: *Minnes politseisse toimumust rääkima, tunneb Joe asešerifis ära mõrvari*. Придя в полицию рассказать о случившемся, Джо в заместителе шерифа узнает убийцу, — форма *tunneb* употреблена в функции настоящего исторического.

В случае узуальной повторяемости часто возможна двоякая интерпретация предложения. Трансформация в сложноподчиненное в рамках эстонского языка не разрешает неоднозначности, поскольку временной и условный союзы омонимичны. В этих случаях решающим оказывается более широкий контекст, хотя можно предположить, что при повторяющихся ситуациях однозначность интерпретации может быть несущественной. Ее отсутствие не затрудняет коммуникацию, поскольку на первый план выступает именно обычность, повторяемость действия. Ср.: *Süüdistades milleski alaealist, teda enamas-ti avalikkuse ees ei identifitseerita* (Luup 10.06.1996). Обвиняя несовершеннолетнего, его имя, как правило, не сообщают общественности (Когда/если обвиняют...) *Isegi reeglitekohaselt sõites tekitab pelgalt politsei nägemine paljudel autojuhtidel kõhedustunde* (Luup 24.06.1996). Даже у не нарушающих правила дорожного движения водителей один только вид полиции вызывает чувство неуверенности.

В герундивных придаточных сокращенных неупотребительно прошедшее время финитного глагола. Кроме того, они отличаются еще одним признаком: направленностью на будущее. Этот чисто семантический признак позволяет достаточно четко отграничивать их от таксисных предложений. *Nõustudes töötama seal, kus riigil vaja, müüb üliõpilane end ette maha* (Luup). Согласившись работать там, где нужно государству, студент заранее продает себя.

В русском языке однократность действия маркируется деепричастием СВ. В таких предложениях условное значение отнесено к будущему времени — временному плану, который больше всего подходит для выражения потенциальности. *Возвратившись домой, я обнаружила письмо. Став владельцем чековой книжки Межкомбанка, Вы можете легко и быстро оплатить любую покупку (АиФ-Москва).*

Позиция герундива в предложении. Хотя считается, что деепричастие относительно свободно располагается в предложении, в случае условного или таксисного значения его место фиксировано. Оно находится в препозиции относительно основного глагола. Это же относится к эстонскому герундиву. *Tellides "Kodukirja" enne 15. septembrit maksad ainult 168 krooni. Подписавшись на журнал "Кодукири" до 15-го сентября, Вы заплатите лишь 168 крон.*

Русские соответствия герундивным придаточным сокращенным. Говоря о соответствиях герундивным придаточным сокращенным, следует разграничивать две группы предложений: равно- и разносубъектные (термины В. П. Недялкова) [1990: 44] конструкции. Разносубъектные сокращенные предложения не могут переводиться на русский язык деепричастным оборотом. Они имеют два типа соответствий: 1) прототипическую УК — сложноподчиненное предложение с придаточным условия; в условной части — глагол в инфинитиве, напр.: *Ja seal, sillalt vaadates, oli see maja olnud ilus. Если смотреть со стороны моста, дом казался красивым;* 2) простое предложение с обстоятельством условия, то есть другая маргинальная конструкция, напр.: *Õunad püsivad värsked, olles jahedas ruumis säilitatud. При хранении в прохладном помещении яблоки дольше остаются свежими.* Выбор эквивалента может быть обусловлен лексически. Так, в примерах, переводимых прототипической УК, использование обстоятельства невозможно. Наши наблюдения показывают, что предпочтительнее оказываются простые предложения. Очевидно, это связано с тем, что маргинальной структуре соответствует в таких случаях другая маргинальная структура. Возможно, это более "естественно", чем соответствие: маргинальная—прототипическая конструкция. Семантика прототипической кон-

струкция более дифференцирована по сравнению с маргинальной. Это связано со значением, вносимым союзом, а также финитными формами глаголов. Кроме того, в случае использования в качестве соответствия сложноподчиненного предложения в обуславливающей части имеется инфинитив, то есть неизменяемая форма глагола. Таким образом, инфинитивная форма герундива в эстонском языке обуславливает инфинитивную форму в качестве эквивалента в русском.

Равносубъектным предложениям с герундивом в русском языке соответствует деепричастие. *Ostes rösteri 160 krooni eest säästate 80 krooni. Купив тостер за 160 крон, вы сэкономите 80 крон.*

Русские соответствия форме на *-mata*. Сокращенные предложения с абессивом супина имеют в русском языке разные соответствия. В одном случае эквивалентом будет деепричастие с отрицанием, в другом — предложно-падежное сочетание *без* + род. пад. существительного. Это связано с субъектом, к которому относится форма *-mata*. Если в предложении один логический субъект, возможен перевод деепричастием (при отсутствии лексических ограничений), в случае разных субъектов эквивалентным будет сочетание *без* + род. пад. Напр.: *Pealegi, teadmata täpset pilli päritolu ja tegelikku autorit ei saa hinda öelda* (Postimees 25.11.1995). *Кроме того, не зная точного происхождения и автора инструмента, невозможно назвать цену. Aga nii, ilma revideerimata, saan ma ikka läbi* (J. Kunder). *А так, без ревизии, я уж как-нибудь проживу.*

В последнем примере субъект действия, выраженного супином, является неопределенным, это видно из трансформации в прототипическую УК: ... *kui ei revideerita*, однако ясно, что он не совпадает с субъектом главной части: *ma saan läbi*.

Выводы. Обобщая, можно сказать, что русские эквиваленты эстонских сокращенных предложений делятся на две большие группы в зависимости от наличия одного или двух логических субъектов. Равносубъектные конструкции переводятся деепричастием, разносубъектные — прототипической УК или простым предложением с обстоятельством условия.

Аспектуальность, не имеющая в эстонском языке регулярного выражения, может оказаться важным показателем при разграничении однократных или повторяющихся действий. Значение СВ передается глаголом в сочетании с генитивом, НСВ — с партитивом прямого объекта. Условные и таксисные герундивные придаточные сокращенные различаются по форме времени финитного глагола: в условном предложении финитный глагол не может иметь формы прошедшего времени, в таксисном предложении форма прошедшего времени естественна. Данная закономерность связана с направленностью условной семантики на будущее.

ЛИТЕРАТУРА

- Кюльмоя И. П. 1985. — Структура и функционирование кратно-соотносительных конструкций в современном русском языке. АКД. Ленинград.
- Недялков В. П. 1990. — Основные типы деепричастий // Типология и грамматика. Москва.
- Храковский В. С. 1994. — Условные конструкции: взаимодействие кондициональных и темпоральных значений // ВЯ, № 6.
- Eesti keele grammatika 1993. — Tallinn.
- Erelt, M. 1987. — Sekundaartarindid eesti keeles. Tallinn.
- Uuspõld, E. 1966. — Määrusliku *des-*, *mata-*, *nud-* (*nuna-*) ja *tud-* (*tuna-*) konstruktsiooni struktuur ja tähendus // Keele modelleerimise probleem, 1. Tartu.
- Uuspõld, E. 1972. — Agendi väljendamisest *des*-konstruktsiooniga lauses // Keel ja struktuur, 7. Tartu.
- Uuspõld, E. 1975. — Lauselühendi probleeme tänapäeva eesti keeles // Emakeele Seltsi aastaraamat 19–20. Tallinn.

CONVENTIONAL STRUCTURES WITH GERUNDIVE AND THEIR RUSSIAN EQUIVALENTS

S u m m a r y

Gerundive subordinate contracted sentences belong to the periphery of the functional-semantic field of conventionality. That is the case, too, with Russian sentences with adverbial participle.

Russian equivalents of Estonian contracted sentences fall into two major groups in keeping single on two logical subjects available. Structures with one subject are translated by an adverbial participle, structures with different subjects — by a compound sentence with a conventional conjunction or by a simple sentence with an adverbial modifier of condition.

Aspectuality, as far as it has no regularity in Estonian, may prove to be a good index in distinguishing single and recurring actions. The meaning of perfective aspect is manifested by a verb with genitive, that of imperfective aspect — by partitive of a direct object.

Conventional and taxis sentences with gerundive differ in the temporal form of a finite verb: in conventional sentence, a verb is not to have a past form, but the latter is natural for taxis structures.

ТРЕХЧЛЕННЫЙ ПАССИВ В ГАЗЕТНОМ ТЕКСТЕ

Н. А. Козинцева

В синтаксисе языка газеты соединяются черты книжного и разговорного стилей речи. Неоднократно отмечалось значительное влияние разговорной речи на язык газетных публикаций. Вместе с тем в газетных текстах сохраняются определенные признаки книжного языка. Одной из примет книжного языка являются пассивные конструкции. Наша задача — рассмотреть их функции в газетных текстах и попытаться выявить, на чем основана связь пассива и книжного, официального стиля.

Пассивные конструкции представляют собой синтаксическое средство, позволяющее, с одной стороны, дефокусировать агенса-производителя действия, перевести его в периферийную позицию косвенного (агентивного) дополнения, с другой стороны, выдвинуть объект в позицию темы, то есть выразить его словом, находящимся в приоритетной позиции подлежащего [Храковский 1991: 164].

В русском языке существуют два типа пассивных конструкций — двучленные, типа *Дверь была открыта* и трехчленные, типа *Дверь была открыта водителем*. Двучленные конструкции (ДвПК) отличаются от исходных активных конструкций тем, что в них не выражен субъект действия. Их употребление связано с теми коммуникативными ситуациями, когда говорящему по тем или иным причинам не нужно называть субъекта действия. Это может быть неизвестность субъекта, нежелательность его названия, обобщенность и др. Двучленный пассив не является специфической принадлежностью книжной речи.

Трехчленные пассивные конструкции (ТрПК) передают ситуацию так же, как и активные, со всеми участниками. А. А. Холодович писал о том, что вопрос о выборе пассива в тексте по своей сложности близок проблеме выбора вида

[Холодович 1976]. Вопрос о функциональных, стилистических и прагматических различиях между активной и трехчленной пассивной конструкциями давно обсуждался в русской грамматике; из публикаций последних лет см., в частности, [Храковский 1991, Ванхала-Анишевски 1994].

В настоящем сообщении мы остановимся на вопросе о выборе трехчленного пассива. Материалом избраны тексты газетных публикаций, так как после научных текстов именно здесь мы встречаем наибольшее количество пассивных конструкций.

Функционирование пассивных форм может быть обусловлено следующими факторами: 1) передачей определенных видо-временных значений и 2) требованиями связности текста (выражением такой коммуникативной перспективы высказывания, в соответствии с которой рема предшествующего высказывания становится темой последующего), 3) необходимостью указать на распределение релевантности ролей участников события; 4) формально-стилистическими требованиями к тексту. Далее будут кратко рассмотрены эти факторы.

Особенности видо-временных значений, передаваемых в ПК

Парадигмы видо-временных форм в активе и в пассиве несимметричны. В пассиве сказуемое может быть выражено формой причастия совершенного вида, иногда несовершенного, на *-н/-т-* с нулевой связкой — так называемый шахматовский перфект, передающий действие, результат которого актуален для момента речи [см. Маслов 1987: 198] — соответствующей формы в активе нет. Перфектная форма может выступать в статальном (результативном) значении. Это значение ярко выступает в заголовках, реализующих двухчленную пассивную конструкцию:

(1) **ОСВОБОЖДЕНЫ 40 ЗАЛОЖНИКОВ-СТРОИТЕЛЕЙ**
 (“Невское время” 5.05.96: 1)¹

¹ Прописными буквами набраны предложения, представляющие собой заголовки газетных публикаций.

(2) **КОНФЛИКТ ПОЧТЫ С ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГОЙ ТАК И НЕ РЕШЕН** (“Известия” 28.02.96: 2)

Трехчленный причастный пассив также может выступать с перфектным значением, которое подчеркивается включенностью перфекта в контекст настоящего времени сказуемого, см. (3), где обстоятельство времени *давно* выражает длительность результативного состояния:

(3) *Пикантность сюжета придает то обстоятельство, что южнокорейский оружейный рынок давно и прочно монополизирован американцами. Ракетные комплексы “Пэтриот” уже развернуты на территории Южной Кореи, а неделю назад глава американского оборонного ведомства Уильям Перри объявил о дополнительном размещении ... 40 модернизированных ракетных комплексов ...* (С. Агафонов. Угроза из России. “Известия” 24.02.96: 3).

Перфект состояния может выступать также со специальным обстоятельством даты, выраженным словосочетанием *по состоянию на*, при этом состояние охватывает указываемое данным обстоятельством время, см. (2):

(4) *Согласно приведенным на пресс-конференции данным, по состоянию на 17.00 московского времени в четверг циклонном охвачены практически все районы Сахалинской области* (ИТАР-ТАСС. “Невское время” 10.11.95).

Эта форма может выступать также с перфектно-акциональным значением в контексте обстоятельства времени, указывающего на дату:

(5) *Генеральный директор “АвтоВАЗа” Владимир Каданников Указом Президента России Бориса Ельцина назначен вчера первым заместителем председателя правительства Российской Федерации. Владимир Каданников сменил на этом посту Анатолия Чубайса* (“Невское время” 26.01.96: 1).

(6) *Бывший мэр Грозного Беслан Гантемиров в пятницу был задержан и взят под стражу Федеральными правоохранительными органами. Как указывается в официальном сообщении Центра информации и общественных связей Генеральной прокуратуры РФ, “в ходе расследования уголовного дела по фактам хищений федеральных бюджетных средств...” установлено, что бывший мэр Грозного является*

“одним из организаторов этих деяний” (“Невское время” 5.05.96: 1)

(7) СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ // ОТКЛОНИЛ ЗАКОН О САМОМ СЕБЕ.

Закон о порядке формирования Совета Федерации... отклонен вчера депутатами верхней палаты Российского парламента. За закон проголосовали только 10 человек (ИТАР-ТАСС. “Невское время” 26.01.96: 1).

В приведенных примерах, представляющих собой первую фразу текста, автор начинает свое изложение с указания на положение дел, результативное состояние. Дальнейший текст строится как объяснение или комментарий к первой фразе: автор объясняет, как сложилось данное положение дел, см. примеры (6, 7), либо дополнительно комментирует сложившуюся ситуацию, см. пример (5).

Предложение, реализующее активную конструкцию со сказуемым в форме прошедшего СВ, сообщает о действии субъекта и дальнейшем развитии событий:

(8) Президент России Борис Ельцин принял в воскресенье в Кремле лидера движения “Яблоко”, кандидата на пост президента РФ Григория Явлинского. Б. Ельцин и Г. Явлинский провели “рабочие консультации об общественно-политической ситуации в стране” (“Невское время” 6.05.96: 1).

Возвратный глагол в позиции сказуемого трехчленной пассивной конструкции может употребляться в формах прошедшего и будущего НСВ. Частные видовые значения возвратного глагола те же, что и у соответствующего активного. Отмечается, что в тексте пассивные формы НСВ выступают чаще с неограниченно-кратным значением [Пупынин 1980, 1991]. Обращает на себя внимание также преимущественно абстрактный характер лексического значения глаголов-сказуемых, выступающих в ТрПК: *ознаменоваться, контролироваться, отмечаться* (о весенних днях), *объявляться* (о бое), *завершаться, прекращаться, выделяться* (о деньгах), *согласовываться, избираться, уточняться, скрываться, расцениваться, считаться, оцениваться, устанавливаться* (об ограничениях) и др. Это, в основном, предикаты второго порядка: фазовые глаголы, глаголы мысли, оценки, операторные

глаголы. Передаваемое ими действие, как правило, непосредственно не наблюдаемо, оно не может быть привязано к конкретному ограниченному временному отрезку. Форма НСВ имеет значение длительного, см. примеры (9, 10), или неограниченно-кратного действия, см. пример (11):

(9) Заявка на фильм по этому сценарию уже рассматривается Роскомкино (“Соавтор на всю жизнь”. “Московские новости” 1–14.01.96: 3).

(10) Работа потребительского совета контролируется правительством (А. Беленький. “Покупатель — он и в Швеции покупатель, но ...” “Невское время” 5.11. 95: 3).

(11) Этот проект отклоняется то Советом Федерации, то президентом (А. Зильберт, А. Паиков, Р. Варнавская. “Известия” 16.11.95: 5).

Пассив как средство связности текста

Абсолютное большинство употреблений трехчленного пассива локализуется в непервых предложениях абзаца и связано с тематизацией объекта. В связном тексте, построенном по принципу цепи (рема предшествующего предложения становится темой последующего) ТрПК используется как средство достижения связности текста, см. [Храковский 1991]. Это объясняет появление ТрПК в тексте в том случае, если объект был назван раньше и занимал позицию рематического члена предложения. ТрПК обеспечивает продвижение объекта в тематическую позицию. Можно добавить, что тематичность объекта специально маркируется показателями анафорической связи — местоимениями, отсылающими к предшествующим обозначениям объекта, ср.:

(12) Виктор Васильевич показал // каталог перевезенных в 1914 году царской семьей в Москву... коронационных регалий... Две трети этих музейных ценностей... // были проданы правительством за границу (З. Максимова. “Известия” 24.10.95: 5).

Эта же закономерность объясняет употребление пассива в составе придаточного определительного, в котором союзное

слово, отсылая к реме главного, выступает в качестве темы (подлежащего со значением объекта):

(13) *Это во много раз больше числа подобных консультаций (1500), которые // даются десятию крупнейшими медицинскими центрами США, утверждает руководитель отделения Стейнер Педерсен (М. Зубко. "Известия" 26.10.95: 5).*

(14) *Вся Америка знает, как ненавидит президент Клинтон быстрые решения, но обстоятельства, которые, как утверждают в США, // сознательно подстроены Пекином, могут заставить Клинтона прибегнуть к срочным мерам (В. Надеин. "Известия" 15.02.96:3).*

Возможен иной вариант использования ПК для достижения связности текста, когда субъект входит в рему предшествующего предложения и оказывается в составе темы последующего:

(15) *Сейчас в Думе дожидаются // поквартальной разбивки федерального бюджета ... и инвестиционной программы, которые должны поступить из правительства ... Именно в рамках этого документа ... / исполнительной властью // будут сделаны (или не сделаны) поправки к уже утвержденному бюджету (И. Савватеева. "Известия" 10.02.96: 2).*

ТрПК может реализоваться также и в первой фразе текста, но тем не менее задача достижения связности текста может оставаться актуальной. Для текста газетного сообщения характерна тесная связь с заголовком до такой степени, что первое предложение иногда бывает продолжением заголовка. Оказывается, что ТрПК может быть начальной фразой сообщения, и при этом ее коммуникативная структура непосредственно определяется заголовком, см. пример (7).

Употребление ТрПК для рематизации субъекта

Существуют различные синтаксические механизмы для рематизации субъекта: варьирование порядка слов и выбор между активом и пассивом. ТрПК используется в тех случаях, когда необходимо рематизировать субъект:

(16) *Однако ты не сдался и не отчаялся — и это достойно всяческой похвалы. Отныне твоя главная задача — укрепляться духом и всегда помнить, что жизнь дана нам Самим Богом ... (Из письма Патриарха. А. Васинский. Послесловие. "Известия" 10.02.96: 5)*

(17) *Это близко мифологии Авторства вообще: мир создан Богом, соответствует Замыслу, текст соответствует замыслу (или помыслу, или откровению, мало ли всяких таких вещей) (В. Курицын. Нужны ли мы нам? "Литературная газета" 4.10.95: 4).*

Тот же смысловой эффект может быть достигнут в предложении с активной конструкцией, если поместить на первое место прямое дополнение, а подлежащее — на последнее место. Такие конструкции распространены в текстах газетных публикаций, однако в отличие от приведенных примеров в активных структурах прямое дополнение обычно синтаксически осложнено придаточным определительным или причастным оборотом, несогласованным определением или иными способами, см.:

(18) *Судебный иск против одного из самых известных французских певцов Мишеля Сарду подал недавно один 22-летний французский фоторепортер ("Невское время" 26.10.95: 5).*

Другой случай использования ТрПК, связанный не с проблемами построения связного текста, а с расстановкой акцентов релевантности того или иного участника ситуации, представлен пассивными предложениями в абсолютном начале текста.

Пассив в первом предложении

Первое предложение в газетной публикации носит особый характер. Это либо указание на тему сообщения, либо краткое резюме содержания статьи.

Для анализа были выбраны 300 начальных предложений, в которых в позиции сказуемого выступали переходные глаголы, допускающие и активную и пассивную формы и образующие активную, неопределенно-личную, двучленную пассивную и трехчленную пассивную конструкции (не учиты-

вались начальные предложения с непереходными глаголами и безглагольные). Нас интересовало, какой участник ситуации передается членом предложения, занимающим первое место в первом предложении. Результаты представлены в следующей таблице:

<u>Первое место</u>	<u>Актив</u>	<u>Неопр.-лич.</u>	<u>ТрПК</u>	<u>ДвПК</u>
Подлежащее (субъект)	108			
Подлежащее (объект)			24	30
Прямое дополнение (объект)	16	3		
Обст. времени	39	1	9	26
Обст. места	6	3		8
Другие обст.	8		2	9
Сказуемое				2
Агентивное дополнение			6	
Всего	177	7	41	75

Первое предложение в информационной заметке имеет такой порядок слов, при котором на первое место выносятся слова, являющиеся поводом для заметки, ее темой. При нейтральной интонации и прямом порядке слов в предложении на первом месте выступает подлежащее. Таким образом, если тема заметки передается существительным, обозначающим объект действия, возможны две конструкции: а) активная — первое слово, называющее объект, выступает в позиции прямого дополнения (порядок слов инвертирован), см. пример (18); б) пассивная — первое слово выступает в позиции подлежащего (порядок слов нейтральный):

(19) *Выступление министра внутренних дел Анатолия Куликова на заседании правительства с экономической программой многими было воспринято как жест отчаяния, как некий экспромт министра, загнанного в угол безденежьем своего ведомства (М. Бергер. "Известия" 14.02.96: 2).*

С чем может быть связан выбор? Чтобы решить этот вопрос, рассмотрим, какие типы субъекта встречаются в пассивных конструкциях и сопоставим полученные данные с

встречаемостью типов субъекта в активе и в пассиве. Субъект может быть: а) конкретным лицом:

(20) *Концепция Федеральной программы единой дежурно-диспетчерской спасательной службы во всех крупных городах страны была предложена министром по чрезвычайным ситуациям России Сергеем Шойгу на конференции “Проблемы безопасности больших городов”, которая в эти дни проходит в Москве (“Известия” 4.04.96: 1);*

б) обобщенным и тривиальным — гос. орган, который должен выполнять то или иное действие, см. примеры (3, 6, 10, 11, 13);

в) не лицом:

(21) *Штурмовик военно-воздушных сил России Су-25 в воскресенье около 11.00 был сбит в Чечне средствами ПВО бандформирований (“Невское время” 6.05.96: 1).*

Для газетных публикаций в большинстве предложений и с активной, и с пассивной конструкциями характерна передача ситуаций с неконкретным — обобщенным или тривиальным — субъектом. Значимые различия между активом и пассивом мы получим в том случае, если сопоставим количество случаев разного выражения конкретного субъекта-лица. В следующей таблице приводятся результаты этого сопоставления:

	актив	пассив
Субъект — конкретное лицо	51 (29%)	6 (15%)
Всего	177 (100%)	41 (100%)

Эти данные показывают, что предложения с ТрПК употребляются для передачи ситуации, в которой действует конкретный субъект-лицо, заметно реже, чем активные.

На материале текстов прессы на английском языке было замечено, что пассив как “понижающая” синтаксическая категория используется с целью “затушевать отрицательные роли правящей элиты” [ван Дейк 1989: 125] или “затушевать его [субъекта — Н. К.] активную роль в совершении действия” [Ванхала-Анишевски 1994: 95]. Это положение применимо и к рассматриваемому нами материалу. Пассивная конструкция, содержащая имя конкретного лица в творительном падеже, то

есть представляющая имя лица в наименее приоритетной позиции, представляется менее оценочной с точки зрения автора текста:

(22) *Первый вариант закона, принятый минувшим летом обеими палатами, был отклонен Президентом России как не соответствующий Конституции ("Совет Федерации отклонил закон о самом себе". ИТАР-ТАСС. "Невское время" 26.10.95: 1).*

Возможна еще более "пониженная" конструкция, в которой агенс передается как "издатель официального документа", см. пример (5).

ПК как средство формального варьирования

Вместе с тем существуют некоторые употребления ПК, которые связаны с формально-стилистическими задачами.

Если в придаточном изъяснительном субъект действия совпадает с субъектом главного, то ПК в придаточном позволяет избежать монотонности синтаксического построения главного и придаточного:

(23) *Генеральный директор предприятия заявил "Известиям", что им отдано распоряжение дирекции "Грозэнерго" начать подготовку к выводу персонала из республики (Н. Гритчин. Руководство "Южэнерго". "Известия" 19.01.96: 2). Ср.: Генеральный директор предприятия заявил "Известиям", что он отдал распоряжение дирекции "Грозэнерго" начать подготовку...*

Видимо, употребление ПК в следующем предложении также направлено на то, чтобы избежать употребления одних и тех же словоформ в соседних фразах:

(24) *Проверку на безопасность осуществляют центры Госсанэпиднадзора на местах. Данных за прошлый год еще нет, а в 1994-м центрами Госсанэпиднадзора было исследовано 9675 образцов товаров детского ассортимента по санитарно-химическим показателям (Т. Епифанова. "Известия" 14.02.96: 8). Ср.: Проверку на безопасность осуществляют центры Госсанэпиднадзора на местах. Данных за прошлый год еще нет, а в 1994-м центры Госсанэпиднадзора исследу-*

довали 9675 образцов товаров детского ассортимента по санитарно-химическим показателям.

Интересно также обратить внимание на последовательность заголовка и первой фразы публикации. Первая фраза публикации может быть связана с заголовком параллельной связью, то есть иметь с заголовком общее начало и содержать ряд дополнительных смысловых компонентов. При этом заголовки не повторяются дословно, а варьируются с помощью пассивной конструкции:

(25) *МВД БЕЛОРУССИИ ЗАДЕРЖАЛО БОЛЕЕ 200 УЧАСТНИКОВ МИТИНГА. Сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии задержано более 200 участников несанкционированного властями шествия "Путь Чернобыля", прошедшего в Минске 26 апреля по инициативе оппозиционного Белорусского народного фронта (БНФ) ("Невское время" 30.04.96: 1).*

Итак, можно сказать, что трехчленный пассив функционирует в нескольких текстовых функциях: 1) для выражения перфектного значения (причастный пассив); 2) для достижения связности текста; 3) для определенной градации релевантности участников ситуации; 4) для формально-синтаксического варьирования конструкции. Специфика именно газетных текстов заключается в возможности использования пассива в первом предложении, в заголовке, в особо тесных связях заголовка и текста публикации.

Представление о пассиве как стилистически ограниченной форме связано с двумя явлениями: а) с тяготением к употреблению в пассиве абстрактной лексики, характерной для книжной речи, и вследствие этого с ненаблюдаемостью действий, приводящей к их дезактуализации; б) с безоценочностью, достигаемой понижением уровня релевантности субъекта-лица, участвующего в ситуации.

ПРИМЕЧАНИЕ

Количественные данные были получены в результате обработки материала, извлеченного из следующих номеров газет: "Известия" за 19, 20, 25 января; 8, 10, 13, 14, 22, 28, 29 февраля; 1, 16, 19, 24, 27–30 марта; 2–6, 9–13, 16, 17, 19, 20, 23–27, 30 апреля; 5–7, 9 мая 1996 года; "Невское время" за 26 октября, 10 ноября 1995 г.; 26 января, 29 марта; 2, 4, 23, 27, 30 апреля; 5–9 мая 1996 г.

ЛИТЕРАТУРА

- Ванхала-Анишевски М. 1994. — Коммуникативные и прагматические функции пассивных конструкций с агентивным дополнением в русском языке // Русистика сегодня. Москва: Институт русского языка РАН. № 3.
- Дейк ван Т. А. 1989. — Язык. Познание. Коммуникация. Москва: Прогресс.
- Маслов Ю. С. 1987. — Перфектность // А. В. Бондарко (ред.). Теория функциональной грамматики: Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. Ленинград: Наука.
- Пупынин Ю. А. 1980. — Функционирование форм несовершенного и совершенного видов в пассивных конструкциях // А. В. Бондарко (ред.) Функциональный анализ грамматических единиц. Ленинград: ЛГПИ им. А. И. Герцена.
- Пупынин Ю. А. 1991. — Активность/пассивность во взаимосвязи с другими функционально-семантическими полями // А. В. Бондарко (ред.) Теория функциональной грамматики: Персональность. Залоговость. Санкт-Петербург: Наука.
- Холодович А. А. 1976. — Залог // Проблемы грамматической теории. Ленинград: Наука.
- Храковский В. С. 1991. — Пассивные конструкции // А. В. Бондарко (ред.) Теория функциональной грамматики: Персональность. Залоговость. Санкт-Петербург: Наука.

PASSIVE CONSTRUCTIONS IN MASS MEDIA TEXTS

S u m m a r y

The article focuses on the passive constructions with the agent complement as used in mass media texts. The functions of passive constructions with agent complements are (1) to express the perfect meaning (participial passive forms); (2) to make the text coherent; (3) to rank the participants according to their relevance for the situation; (4) to allow the structural variation of the construction. The characteristic feature of the mass media texts is the occurrence of the passive construction in the first sentence of the text, and in the heading.

СИНТАКСИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ КОММУНИКАТИВНО- ПРАГМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ

Е. Костанди

Большинство синтаксических понятий в последние десятилетия были, как известно, существенно переосмыслены и рассматриваются в настоящее время не только с формальной и семантической точек зрения, но с обязательным учетом и прагматического аспекта. Однако в наименьшей степени это коснулось рассмотрения самого механизма соединения синтаксических единиц и их компонентов — синтаксической связи и ее типов. В то же время и работы ряда исследователей, и наблюдения над материалом позволяют предположить, что различные типы синтаксической связи, их выбор в речи соотносятся с целым комплексом коммуникативно-прагматических факторов. Остановимся в этой связи на некоторых моментах, относящихся к разным синтаксическим уровням: текста, сложного и простого предложения, словосочетания.

Обращение лингвистики к уровню текста первоначально выдвинуло на первый план анализ такого признака текста, как связность, который начинает рассматриваться как основной для текста. Начальный период развития лингвистики текста характеризуется активным изучением средств связности, однако часто оно имеет характер скорее констатации фактов, чем попытки объяснения существования в языке и выбора в речи различных средств связности. Несостоятельность такого подхода скоро проявилась, и стало ясно, что уровень текста требует принципиально нового подхода. На первый план постепенно выдвигается анализ коммуникативной направленности, целевой установки, условий коммуникации, т. е. всего комплекса факторов, относящихся к коммуникативно-прагматическому аспекту текста, связность же начинает в меньшей мере привлекать внимание исследователей. По сути, образовался разрыв между результатами лингвистики текста первого

периода — “периода связности” — и периода коммуникативно ориентированной лингвистики.

В то же время в некоторых областях эти два подхода не только соприкасались, но и были неразрывно связаны. Так, рассмотрение текстовой функции актуального членения невозможно без одновременного рассмотрения актуального членения как средства связности и как средства включения предложения и текста в коммуникативную ситуацию. Также подход к тексту с точки зрения доминирования в нем синтагматики [Hausenblas 1971], ориентация на процессуальность текста предполагают совмещение анализа связности и средств ее выражения и коммуникативных установок текста.

Существует, как известно, ряд наблюдений, подтверждающих соотнесенность типа связности и типа текста, формирование же типов текстов в значительной степени обусловлено коммуникативными факторами. Так, например, И. Мистриком установлена определенная взаимозависимость выделяемых им типов текстовой связи (глютинация, рекуренция, юнктура) и типов текстов [Mistrik 1975]. Г. Я. Солгаником в работе “Синтаксическая стилистика” в общих чертах отмечалась соотнесенность лексических средств связности и стилистической принадлежности текста, правда, конкретных данных, характеризующих эту соотнесенность, автором приведено не было [Солганик 1991].

Наши наблюдения над использованием различных средств связности также свидетельствуют о соотнесенности типов и средств связности и типа текста, что явно прослеживается при анализе, например, такого средства связности, как лексический повтор, что рассматривалось нами ранее более детально [Костанди 1993]. Отметим сейчас лишь некоторые моменты.

Как показывает анализ материала, лексический повтор, образующий цепочки субституции, т. е. последовательных наименований, относящихся к одному денотату, выступает не только как средство линейной связи близлежащих предложений, но и как одно из средств вертикальной организации текста или его фрагмента. Образующиеся цепочки субституции способствуют формированию определенной структуры текста. При этом, например, в текстах разных стилей эта функция

лексического повтора имеет различное проявление. Так, при сопоставлении официально-деловых, художественных, научных и газетных текстов выяснилось, что наиболее однотипный и эксплицитный характер цепочек субституции присущ газетным текстам, что в значительной степени диктуется условиями коммуникации. Массовость адресата, разнообразие аудитории, условия создания и восприятия текста (оперативность, регулярность, ограниченность объема, влияние традиции и др.) приводят к необходимости создания текста, легко и однозначно воспринимаемого адресатом. Эксплицированность горизонтальной и вертикальной связности с помощью наиболее явных средств — лексических — дает возможность без затруднений переходить от одной части текста к другой, исключает многозначность понимания соотношения отдельных предложений и частей текста. Таким образом достигается наиболее адекватное авторской установке восприятие текста в условиях массовой коммуникации.

Довольно существенно различаются тексты разных стилей и с точки зрения использования конкретных средств субституции: чистого лексического повтора, местоименного, синонимического, нулевого замещения. Взаимодействие структуры и конкретных средств субституции дополняется и определенными типами лексических отношений между предложениями [Флоренская 1977], что также достаточно явно соотносится с общей авторской установкой, условиями коммуникации, направленностью на определенную аудиторию. Так, например, отношения пересечения (*Я прочитал книгу. Она мне очень понравилась*) — наиболее явные, лежащие на поверхности. Обнаружение связи предложений не требует дополнительных усилий, обращения к предыдущим или последующим частям текста. Эти отношения и преобладают в газетном тексте, который, соответственно, сравнительно легко воспринимается любым адресатом.

Таким образом, обращение даже к отдельным аспектам текстовой связности показывает, что достаточно очевидной является взаимообусловленность типов и средств связности и комплекса факторов, относящихся к прагматическому аспекту текста. Это позволяет сделать вывод, что разные типы и сред-

ства связности не являются просто “формальным” механизмом соединения отдельных предложений и частей текста, а выбираются в зависимости от коммуникативной установки и участвуют в ее реализации. Очевидно также, что неслучайным было обращение лингвистики текста прежде всего к анализу связности.

Синтаксические связи, действующие на других уровнях (между частями сложного предложения, между субъектом и предикатом, между компонентами словосочетания), также довольно фрагментарно соотносятся исследователями с признаками прагматической направленности, коммуникативных условий, характеристиками адресанта и адресата, либо такое соотношение полностью отсутствует.

Следует отметить, что анализ сложного предложения в наибольшей степени соприкасается с анализом прагматического аспекта, даже если это прямо и не декларируется тем или иным исследователем (см., напр., [Формановская 1978]). Основные типы сложных предложений в значительной степени соответствуют разным способам соотношения говорящим внеязыковых и моделирования языковых событий. Сопоставим, например, такие сложные предложения, как: *Мы шли по площади, часы били двенадцать. — Когда мы шли по площади, часы били двенадцать. — Часы били двенадцать, а / но мы шли по площади.* В конкретной коммуникативной ситуации выбор одного из вариантов осуществляется говорящим в зависимости от наличия и признаков более широкого контекста (см. последний пример), его знания участниками коммуникации, от необходимости подчеркнуть тот или иной компонент с целью реализации определенной целевой установки и целого ряда других факторов. Сложное предложение в последнее время все чаще рассматривается в этом аспекте, и в данной статье нет необходимости на нем специально останавливаться.

Аналогичное явление, т.е. зависимость от коммуникативно-прагматических факторов, наблюдается и при анализе связи субъекта и предиката предложения. В частности, выбор типа сказуемого, а соответственно — способа и конкретных средств соединения субъекта и предиката, обусловлен и набором прагматических факторов. Как показывает анализ мате-

риала, тип сказуемого является одним из основных средств выражения точки зрения на соотношение субъекта и предиката, предмета и его признака. Эта точка зрения может принадлежать и/или быть приписана в предложении разным лицам: автору, субъекту речи, персонажу, неопределенному или обобщенному субъекту, субъекту предложения и т.д. Степень эксплицированности такого приписывания в значительной степени обусловлена конкретной авторской установкой, реализуемой в определенном контексте и определенных коммуникативных и более широких условиях, что достаточно явно прослеживается при сопоставлении предложений с разными типами сказуемого. Ср.: *Он учится на первом курсе.* — *Он студент первого курса.* — *Он является студентом первого курса.* — *Он стал студентом первого курса.* — *Он оказался студентом первого курса.* — *Он кажется студентом первого курса.* — *Он начал (продолжает, может, хочет, должен) учиться на первом курсе.*

В предложении с простым глагольным сказуемым характеристика субъекта-автора, воспринимающего и описывающего соотношение главных членов предложения (как и характеристика адресата) максимально устранена, адресант и адресат типом сказуемого не маркированы. В стилистически отмеченном предложении *Он является студентом первого курса* типом сказуемого в целом и в особенности связкой передается дополнительная информация об адресанте и адресате: они находятся в определенных коммуникативных условиях, имеющих ряд ограничений — социальных, профессиональных, возрастных и др.

Еще более эксплицирована отсылка к субъекту, воспринимающему и моделирующему связь между подлежащим и сказуемым, в предложениях типа: *Он кажется умным человеком.* *Он считается лучшим учеником.* *Она слывет красавицей.* Использование составного именного сказуемого с полужнаменательной связкой отмечает связь между подлежащим и сказуемым как кем-либо воспринимаемую (кому-то кажется, кто-то считает):

Имеющие значение становления признака полужнаменательные связки, являющиеся также частью составного имен-

ного сказуемого, содержат отсылку к более широкому контексту и наблюдателю. Так, например, предложение *Ветер становится холоднее* (*Она стала красавицей. Ты стал совсем взрослым*) может появиться лишь в определенном контексте: должно иметься предшествующее данному положение дел (*Ветер был теплее*), с которым воспринимающий субъект, наблюдатель может сопоставить наступившее состояние и сделать соответствующий вывод (*Ветер становится холоднее*). Таким образом, использование связки со значением становления признака предполагает, во-первых, наличие процесса и, соответственно, предыдущего контекста, во-вторых, наличие наблюдателя, способного выделить и сопоставить разные состояния, фазы процесса. Тем самым сказуемое выступает как средство отсылки к наблюдателю и как средство связности на текстовом уровне, чем еще раз подтверждается тесная взаимосвязь текстовых характеристик и категории субъективности. В значительной степени аналогичную отсылку к более широкому контексту и наблюдателю содержат и фазисные глаголы в составном глагольном сказуемом (*Он начинает / продолжает / кончает работать*).

Сопоставление с другими возможными признаками субъекта предложения предполагает связки со значением обнаружения признака (*Он оказался замечательным человеком. Место оказалось прекрасным*).

Дополнительная информация о соотношении субъекта предложения и его признака вводится составным глагольным сказуемым с модальной связкой (*Он может сделать это. Я хочу отдохнуть*). В случае внутрисинтаксической модальности можно говорить и о внутрисинтаксической прагматике.

Таким образом, использование различных типов сказуемого, в частности — различных связок, соотносится с коммуникативно-прагматической направленностью высказывания, т.е. связь между центральными компонентами предложения, как и текстовая связность и связь между частями сложного предложения, в комплексе с другими средствами формирует прагматику речи.

Подход к характеристике синтаксических связей на уровне словосочетания во многом остается в современном синтаксисе

еще чисто традиционным и не позволяет объяснить целый ряд явлений. Остановимся лишь на некоторых из них.

Так, для обозначения предмета и его признака могут быть использованы словосочетания, по-разному построенные, с разными типами синтаксической связи между компонентами. В результате образуются пары словосочетаний типа: *дом отца/отцовский дом; чердачная лестница/лестница на чердак; цветущие яблони/яблони в цвету*. Необходимо отметить, что такие варианты — не редкие единичные случаи, а широко распространенное явление. Встает вопрос, чем обусловлена возможность образования и выбора в речи того или иного варианта.

В частности, выбор типа связи может соотноситься с определенным фокусом восприятия внеязыкового и моделирования языкового события. Согласование, например, прежде всего моделирует “совпадение” предмета и его признака, признак, “согласующийся” с предметом. Наблюдая, воспринимаемая предмет, субъект речи одновременно воспринимает и признак предмета: цвет, размер, форму и т.д. (*высокий дом, красное платье, прямая дорога*). Основной или единственной характеристикой предмета при согласовании становится атрибутивность, которая при наличии во внеязыковой действительности и других характеристик посредством согласования выдвигается на первый план (*отцовский дом, ученическая тетрадь, письменный стол*). Управление моделирует прежде всего объектные отношения, дающие иную фокусировку соотношения предмета и его признака. Объект часто может быть отдален от действия, предмета (ср.: *Брат написал отцу. Мы восхищаемся его поступком*), и для их соединения в предложении требуется большая отстраненность воспринимающего субъекта, а не непосредственное наблюдение, соответственно — дополнительные усилия со стороны субъекта. Таким образом, два типа связи — согласование и управление — могут быть в определенной степени соотнесены с наличием непосредственного наблюдателя или более отстраненного субъекта. Выбор той или иной позиции в свою очередь определяется в значительной степени коммуникативно-прагматическими факторами, что позволяет говорить о

прагматической функции синтаксической связи. Последняя осуществляется, разумеется, в комплексе с рядом других средств и может проявляться в разной степени.

Обращение не к отдельному предложению, а к целому тексту или его фрагментам делает отмеченные закономерности еще более явными. Так, сопоставление текстов с преобладанием разных типов синтаксической связи между компонентами словосочетаний дает возможность соотнести их с разными позициями субъектов, воспринимающих и описывающих внеязыковую действительность.

Сопоставим отдельные фрагменты разных текстов:

Гревели черные поезда, потрясая окна дома; волнующие горы дыма движеньем призрачных плеч, сбрасывающих ношу, поднимались с размаху, скрывая ночное засиневшее небо; гладким металлическим пожаром горели крыши под луной; и гулкая черная тень пробуждалась под железным мостом, когда по нему гремел черный поезд, продольно сквозь частоколом света. Рокоцущий гул, широкий дым проходили, казалось, насквозь через дом, дрожавший между бездной, где поблескивали, проведенные лунным ногтем, рельсы, и той городской улицей, которую низко переступал плоский мост, ожидающий снова очередного грома вагонов. (В. Набоков)

И что говорил о театре и об актерах Кукин, то повторяла и она. Публику она так же, как и он, презирала за равнодушие к искусству и за невежество, на репетициях вмешивалась, поправляла актеров, смотрела за поведением музыкантов, и когда в местной прессе неодобрительно отзывались о театре, то она плакала и потом ходила в редакцию объясняться. Актеры любили ее и называли "Мы с Ванечкой" и "душечкой", она жалела их и давала им понемножку взаймы, и если, случалось, ее обманывали, то она только потихоньку плакала, но мужу не жаловалась. (А. Чехов).

Для первого фрагмента характерно преобладание согласования (*черные поезда; волнующие горы; призрачные сбрасывающие плечи; ночное засиневшее небо; гладкий металлический пожар; гулкая черная тень; железный мост; черный поезд; рокоцущий гул; широкий дым; дрожавший дом; проведенные рельсы; лунный ноготь; городская улица; плоский*

ожидающий мост; очередной гром), для второго — управления (*говорил что; говорил о театре и об актерах; повторяла то; презирала публику; презирала за равнодушие и за невежество; равнодушие к искусству; поправляла актеров; смотрела за поведением; поведением музыкантов; отзывались о театре; ходила в редакцию; любили ее; называли “душечкой”; жалела их; давала им; обманывали ее; не жаловалась мужу*). Способ соединения компонентов языкового события выступает как одно из средств организации его структуры, выбора определенного взгляда на событие в целом в соответствии с авторским замыслом. Кроме того, преобладание определенного типа связи становится средством создания синтаксического параллелизма на уровне словосочетания, придает всему тексту или его фрагменту некоторый общий признак и тем самым выступает как одно из средств формирования целостного связного текста.

Еще более явной становится соотнесенность типа синтаксической связи с общей коммуникативно-прагматической направленностью при рассмотрении текстов различных стилей. Так, анализ с этой точки зрения текстов научного, официально-делового и художественного стилей дал следующие результаты (в %):

	научн.	оф.-дел.	худ.
управление	63	70	50
согласование	28	28	25
примыкание	9	2	25

Можно предположить, что различия в использовании разных типов синтаксической связи соотносятся с такими различиями, лежащими в основе формирования стилей, как условия коммуникации, признаки автора и адресата, целевая установка и т.д. Так, доля наиболее факультативного типа связи — примыкания — существенно увеличивается в текстах наиболее “свободного” стиля — художественного. Однако приведенные данные, несомненно, нуждаются в детальном анализе, в рамках же настоящей статьи нет возможности подробно на этом останавливаться.

Таким образом, мы видим, что синтаксическая связь на различных уровнях (словосочетания, предложения, текста) в той или иной степени соотносится с такими характеристиками, категориями, как, например, признаки автора и адресата, актуальное членение, наличие/отсутствие субъекта-наблюдателя, степень эксплицированности в предложении отсылки к более широкому контексту и конситуации, условия создания и восприятия текста, т.е. с различными коммуникативно-прагматическими факторами. Способ соединения компонентов словосочетания, предложения и текста является одним из средств моделирования языковой действительности и реализации авторской установки в определенной коммуникативной ситуации.

ЛИТЕРАТУРА

- Костанди Е. И. 1993. — Роль лексического повтора в вертикальной организации разных типов текстов // Вопросы сопоставительно-типологического исследования разносистемных языков: общетеоретические и конкретные вопросы функциональной грамматики. Таллинн.
- Ляпон М. В. 1982. — Структура отношения и ситуативные условия его реализации в сложном предложении // Русский язык: Текст как целое и компоненты текста. Москва / Виноградовские чтения XI.
- Mistrik I. 1975. — Štruktúra textu // ČS rozhlas. Bratislava.
- Солганик Г. Я. 1991. — Синтаксическая стилистика. Москва.
- Флоренская Э. А. 1977. — К построению классификации сложного предложения // Ученые записки Тартуского университета. Вып. 425. Тарту.
- Формановская Н. И. 1978. — Стилистика сложного предложения. Москва.
- Hausenblas K. 1971. — Vystavba jazykovych projevů a styl. Praha.

SYNTACTIC CONNECTION AS THE MEANS OF
REALIZATION OF COMMUNICATIVE-PRAGMATIC
SETTING

S u m m a r y

In the given article the object of investigation is the functioning of the types of syntactic connection on the different language levels: in the word combinations, simple sentences and in the text. Some regularities caused by the choice of determined type of through communicative-pragmatic factors are manifested: intentional setting, indications of the author and the receiver of information, conditions of communication etc.

ЕЩЕ О НАПРЯЖЕННЫХ РЕДУЦИРОВАННЫХ ГЛАСНЫХ

Ю. С. Кудрявцев

Напряженные редуцированные [*ŷ*, *î*]: *мыю* [m^hju], *шию* [š^hju], *мои* [mojî] были открыты А. А. Шахматовым [Шахматов 1910] и представляют собой одно из очень поздних уточнений классической младограмматической картины праславянского вокализма. Многие вопросы, связанные с судьбой этих звуков, в русской исторической фонетике изучены недостаточно или просто не рассматривались. Настоящая работа затрагивает некоторые из них и частично является более подробным изложением тезисов [Кудрявцев 1980].

I. Относительная хронология возникновения

Данные древней славянской письменности ясно указывают на то, что нейтрализация фонемных противопоставлений /ь ~ *i*/, /ъ ~ *u*/, в результате которой возникли напряженные редуцированные, происходила под ассимилирующим воздействием /j/. Перед /j/ мы имеем графические эффекты ъ = *ы*, ь = *и*: *мыю/мъю*, *бѣльи/бѣльи*, *шию/шью*, *синьи/сини*. Последовательность /jî/ независимо от происхождения передается в древнерусский период на письме, вопреки фонемной членимости, через букву *и*: *мои*, *достоинъ*, *имамь*. Создатели кириллицы отказались от системной идеи образования буквы “йотированное Ъ” (Ъ) в пользу чисто фонетического отождествления слабо сегментированного отрезка /jî/ с обычным /i/. Что в реальном фонологическом механизме членимость существовала, доказывается дальнейшей судьбой данной последовательности звуков на великорусской почве: а) падение слабого редуцированного: совр. рус. лит. *белый*, *синий*, *иной*; б) прояснение сильного: *достоень*, *какець*, см. [Колесов 1980: 128]; в) особое новгородское прояснение редуцированного

безотносительно к позиции: *мою* masc.sing. (пример А. А. Шахматова), *матвѣца* (пример А. А. Зализняка), см. [там же, 125; Кудрявцев 1993: 18–19].

Однако наличие в праславянской форме слова /j/ не всегда вызывало образование напряженных редуцированных гласных. Многочисленные примеры типа *ножь* < **nozjъ* убеждают нас в этом. Единственным объяснением данного факта может служить указание на относительную хронологию звуковых процессов: [i, ū] возникли после упрощения групп согласных с /j/. Если бы ранее не произошла утрата /j/ в сочетании с согласными звуками, он вызвал бы образование напряженного редуцированного в случаях типа **nozjos* > *nozjъ* > *nozji*, что отражалось бы в древнем славянском письме колебаниями *и/ь*: *ножи/ножь*, *въпли/въпль* и под. Этого в действительности не наблюдается. Рефлексы редуцированного в окончаниях мягкого склонения не обнаруживают какой-либо специфики, которая указывала бы на былую напряженность такого редуцированного, ни в одном из славянских языков и диалектов.

Данная хронология отвечает соображениям общего характера. Образование напряженных редуцированных частично представляет собой межслоговую ассимиляцию (в позиции перед /j/). Естественно полагать, что межслововые взаимодействия осуществлялись в праславянском языке после унификации структуры слога и формирования слогового сингармонизма, т.е., в частности, после утраты /j/ в сочетаниях с согласными. Поздний характер имеют, наряду с рассматриваемым нами процессом, III палатализация и “смещение еров”, которые также осуществлялись через слоговую границу.

II. Фонемная принадлежность

Позиционная обусловленность напряженных редуцированных не позволяет считать их особыми фонемами как в праславянском, так и в древнерусском языках. Это положение бесспорно, ср. [Кузнецов 1965: 51; Иванов 1968: 118; Горшкова 1972: 78; Колесов 1980: 29, 35–37]. В таком случае [i, ū] должны быть аллофонами самостоятельных фонем, возникаю-

щими в позиции нейтрализации (в соседстве с /j/). Но каких? Для московской фонологической школы (МФШ) этот вопрос, по крайней мере в общем виде, представляется заранее ясным. Фонемная принадлежность любого звука определяется по сильной позиции. В том случае, если [i, ŷ] чередуются с обычными редуцированными, они являются вариантами фонем /ь, ъ/; когда же в сильной позиции в соответствии с ними выступают /i, y/, напряженные редуцированные следует считать вариантами этих фонем. На практике, впрочем, не всегда ясно, где мы имеем дело с живым чередованием, позволяющим определить фонемную принадлежность [i, ŷ], а где чередования являются историческими. Нпр., [ŷ] в старославянском *мышь* как будто бы чередуется с [y] в *мыти* и является его вариантом. Однако в связи с характерным праславянским чередованием долгого гласного в инфинитиве и краткого в настоящем времени (нпр., *цвисти* - *цвьтж*) есть основания и для отнесения [ŷ] в этом слове к фонеме /ь/, как это делал П. С. Кузнецов.

Аналогично в окончаниях полных прилагательных можно видеть ту же фонему, что и в окончаниях кратких (т.е. [ŷ] здесь принадлежит /ь/, а [i] — фонеме /ь/), но можно рассматривать эти окончания (полных прилагательных) и как независимые по своему фонемному составу. Вторая трактовка подкрепляется тем, что в косвенных падежах связь окончаний указанных форм между собою была утрачена (др.-рус. *добра* ~ *доброго*, *доброу* ~ *доброму*, *добрѣмь* ~ *добрѣмь* и т.д.) Тв.падеж ед.ч. м.р., как видим, даже противопоставляет фонемы /ь/ ~ /y/. Возникает вопрос: чередуется ли [ŷ] в *добрѣи* с [ь] в *добрѣ* или с [y] в *добрѣмь*?

Наконец, во многих случаях живые чередования слабой и сильной позиции просто отсутствуют: *стрыи*, *игра* и т.д. (В. Н. Сидоров говорил в таких случаях о наличии в слове “гиперфонемы”).

Ясные в принципе, установки МФШ в вопросе о напряженных редуцированных в большинстве случаев не позволяют однозначно определить фонемный статус этих звуков. Поэтому понятно стремление некоторых представителей этой фонологической школы видеть в напряженных редуцированных всегда и только вариации фонем /ь, ъ/ (П. С. Кузнецов).

Принципы определения фонемного состава слов, развиваемые школой акад. Л. В. Щербы, предполагают, что каждый звук в любом слове является оттенком (аллофоном) какой-либо вполне определенной фонемы. При этом фонемы не могут “перекрещиваться”, т.е. один и тот же звук не может быть представителем разных фонем. С этой точки зрения [û, î] являются либо аллофонами фонем /у, и/, либо аллофонами фонем /ъ,ь/. Действительно, напряженные редуцированные находятся в отношении дополнительного распределения как с основными оттенками фонем /у, и/, так и с основными оттенками /ъ,ь/. Фонетически они близки и той и другой паре фонем: от /у, и/ напряженные редуцированные отличает только признак количества, от /ъ,ь/ — степень раствора.

Вопрос заключается в том, какой из этих признаков выступал в качестве различительного, а какой не имел фонологического статуса. Из сравнительной грамматики славянских языков известно, что эти признаки сменили друг друга в ходе истории праславянского языка (т.н. “переход количества в качество”). Первоначальное различие *î ~ î, û~ û заменялось различием по подъему, наблюдаемым в современных славянских языках. При этом остается неясным, когда признак количества перестал быть релевантным и уступил свое место признаку раствора. Теоретически можно выделить три этапа этого процесса.

На первом этапе унаследованная от и.-е. языка-основы вокалическая система имела 3 подъема:

*î, î	û,û
ě, ě	ǔ,ǔ
	ǎ,ǎ

В такой системе различение *î, û ~ î, û как фонетически, так и фонологически осуществлялось исключительно посредством признака долготы/краткости.

Контуры системы гласных праславянского языка на втором этапе наметил Р. О. Якобсон [Якобсон 1963] с помощью типологических данных (сопоставление с современным венгер-

ским языком). После совпадения *ǫ, ǫ ~ *ǣ, ǣ схема основной части вокализма выглядит так:

*ī	ū
ĩ	ũ
ě	ǫ
ē	ā

В данной системе фонологически различаются 2 подъема. В пределах каждого из них краткие гласные располагаются ближе к общему центру системы — в связи с тем, что долгие гласные реализуют те же качественные различительные признаки с большей отчетливостью. На этом этапе *ī, ū (ь, ъ) ~ ī, ū (і, у) фонологически продолжают различаться количественно, но к этому добавляется фонетическое различие по подъему (а также по ряду — последнее никак не реализовалось в истории славянских языков).

Третий этап данной перефонологизации связан с возвращением к системе, обладающей тремя фонологическими подъемами (возможно также развитие четырех степеней раствора). Общую схему вокализма этого этапа представить невозможно, поскольку речь идет об эпохе распада праславянского языкового единства. Здесь происходит утрата фонологической значимости признаком количества и выдвигание на передний план различия рефлексов гласных *ī, ū ~ ī, ū по степени раствора. Поскольку третий этап проходит во время распада прежней языковой общности славян, фонологизация признака подъема могла происходить в разное время по разным языкам и диалектам.

На первом этапе перефонологизации количества в качество напряженные редуцированные гласные еще не существуют. Они появляются, по-видимому, в ходе второго этапа. Ясно, что признак количества, выступающий в этой системе вокализма как ДП, объединяет их с фонемами /ь, ъ/ (<*ī, ū). Переход количества в качество при условии сохранения фонетических результатов ассимилятивной нейтрализации [ь/і, ъ/у] выводит напряженные редуцированные из “зоны рассеивания”

(выражение А. Мартине) фонем /ь, ъ/ и переводит их в состав фонем /i, u/, с которыми их объединяет фонологизовавшийся признак подъема. Таким образом, дефонологизация количества гласного означает изменение фонемной принадлежности напряженных редуцированных.

III. Особая рефлексация

Участие напряженных редуцированных в общем процессе падения редуцированных проявлялось в тождестве первой (и основной) стадии процесса. Звуки [i, ŷ], подобно [ь, ъ], утрачивали функциональную значимость, фонологически редуцируясь до нуля — при первоначальном сохранении характерного для них звучания. О том, что в этом отношении судьба напряженных редуцированных ничем не отличается от судьбы обычных редуцированных, свидетельствуют данные современных славянских языков, отражающих исчезновение тех и других звуков в слабой позиции. Вторая стадия процесса — замещение фонологически “павших” редуцированных гласных так называемыми гласными полного образования в сильной позиции — для [i, ŷ] в большинстве славянских языков отличалась особым характером “прояснившегося” гласного.

Только в русском языке замены [ь, ъ] и [ŷ, î] совпадают ([ь, ŷ]>[o], [ь, î]>[e]). В других славянских языках [î] замещалось через [i], [ŷ] — через [y], тогда как заменами [ь, ъ] выступали гласные звуки среднего или нижнего подъема. Это несовпадение прежде всего и нуждается в объяснении.

Естественно предположить, что специфика рефлексов напряженных редуцированных имеет преемственную связь с условиями их образования. На всем протяжении существования звуков [i, ŷ] сохранились тесные синтагматические отношения их со звуком [j] как условием нейтрализации /ь~y/, /ь~i/ в редуцированных гласных верхнего подъема. Вполне вероятно, что соседство йота повлияло также на рефлексацию этих звуков после падения редуцированных.

Обратим внимание на характер сочетаний, в которых происходило проявление интересующих нас звуков. Группы [-ŷjî, -îjî], где позиция первого редуцированного была сильной, име-

ют слабый внутренний контраст между согласным и гласными. /j/ вообще мало выделяется в интервокальной позиции, где переходные участки от гласного к согласному и от согласного к гласному могут полностью сливаться, лишая этот звук стационарного участка звучания. Таково, например, положение в современном русском языке в заударных флексиях [Аванесов 1974: 201; Панов 1967: 64–65]. В исследуемом случае к тому же его соседями являются гласные верхнего подъема, т.е. максимально близкие к [j] по подъему языка (переходной ступенью между ними является [i̯] неслоговой, с которым [j] связывают тесные отношения как в синхронии, так и в диахронии славянских языков).

Сегментация подобных участков звучания затруднена для носителей языка. Выраженность ее бывает яснее при наличии в системе однотипной структуры слога: Универсальность праславянского строения слога (закон идеального слога Г. И. Климовской) позволяла членить данные участки на три фонемы (-ГСГ-) вследствие однозначности сегментирующих правил. Падение редуцированных, уничтожив эту универсальность, создало для слушающего и говорящего проблему фонематического членения групп [-ŷjî, -îjî].

Подчеркнем еще раз, что падение редуцированных сначала происходило фонологически, при сохранении прежнего звучания. В интересующих нас группах [î, ŷ] фонетически продолжали существовать, но в фонологическом смысле утратились (превратились в нуль фонемы). В этих условиях система языка имела выбор: либо произвести вставку гласной фонемы перед [j] (аналогично тому как путем эпентезы рефлексировались обычные сильные редуцированные), либо пересегментировать участок звучания, слабо расчлененный фонетически, так чтобы он соответствовал новым закономерностям построения слога. Как показывают факты, для славянских языков второй вариант оказался предпочтительнее. Кроме русского, все они после падения редуцированных стали трактовать данные группы как /uj, ij/. Пересегментация заключалась в перцептивном сдвиге участка согласного по синтагматической оси вправо, на место прежнего [î].

Таким образом, рефлексация сильных напряженных редуцированных как [y, i] возникла не вследствие эпентезы на втором этапе падения редуцированных, а вследствие другого фонологического процесса — пересегментирования наличной фонетической реальности. Это различие типов фонематического изменения и обусловило, на наш взгляд, разницу рефлексов напряженных и обычных редуцированных в тех славянских языках, где такая разница имеется.

Обособленное положение русского языка (где сильные [ŷ, î] > [o, e]) объясняется обычным для звуковых процессов некоторым разбросом результатов. Ср., нпр., сохранение носовых гласных в польском при общей утрате их в славянских языках. В отношении замены напряженных редуцированных такой разброс особенно сильно проявился внутри самого русского языка. В одних говорах отмечается общность результатов “прояснения” напряженных и обычных редуцированных. Для других (псковские) существенной особенностью является рефлексация сильного [ŷ] как [e] (после твердого согласного; известно, что такая сочетаемость не характерна для восточнославянских языков). Третьи говоры (новгородские) в ряде случаев реализовали в древности особые закономерности прояснения, когда гласные полного образования появлялись в слабой позиции. Ср. устойчивую вплоть до XVII в. форму им.п. *Юрьи*.

На стыке разных тенденций в процессе формирования общерусского языка могла победить та, которая подравнивала замены напряженных редуцированных под замены обычных.

IV. Прояснение в начале слова

Обсуждая рефлексацию напряженных редуцированных, следует затронуть еще одно явление. В ряде случаев на месте [i] и в русском языке выступает /i/: *играть, игла* и под. Не является ли это /i/ результатом вторичного процесса (следствия падения редуцированных), в котором [j] приобретал слоговость ([j>]j), т.е. [i]), подобно тому как другие сонанты в начальном положении перед согласным развивают ее (*лба, мха*:

[л̣ба], [м̣ха], где [л̣-] < [л-] < [л̣ь-], [м̣-] < [м-] < [м̣ь-])? Ср. у В. К. Журавлева (1977, 41): “Передача слоговости редуцированного начальному неслоговому *i-* (#*й̣ь-* → *й̣ь-* → *й̣ь-* → *i-*, русск. *игла*, польск. *igła*)”. В таком случае эти факты укладываются в общую схему падения слабых напряженных редуцированных: **j̣igla* > *j̣гла*, как *л̣ба* > *лба*, откуда потом получается [j̣гла] = *игла*, [л̣ба]. Данное решение избавляет от необходимости постулировать специальное великорусское изменение позиции напряженного редуцированного в анлауте, как это приходится делать Н. С. Трубецкому [Трубецкой 1987: 150], чтобы объяснить различие рефлексаций *игла* — *достойный* в великорусском и *игла* — *голка* по диалектам древнерусского.

Против нашего решения можно высказать следующий аргумент. Анлаутные сонорные после падения слабого редуцированного по говорам великорусского языка широко присоединяют гласную протезу: *аржаной*, *ильняной* и т.п. Почему такие случаи не отмечаются для начального /j/?

Ясно, что протезирование начального йота должно было бы осуществляться гласным звуком [i], который родственен ему по месту образования (см. выше, с. 111). Еще Щерба установил, что сочетание /ij/ в современном русском языке не отличается по длительности от простого /i/, так что “в обыкновенном произношении *синий* и *сини* (от существительного *синь*) не отличается” [Щерба 1983: 153, также XX]. Если протезирование начального йота перед согласным в словах *игра*, *игла* и под. осуществлялось, то его результаты невозможно отличить от простого гласного [i].

ЛИТЕРАТУРА

- Аванесов Р. И. 1974. — Русская литературная и диалектная фонетика. Москва.
 Горшкова К. В. 1972. — Историческая диалектология русского языка. Москва.
 Журавлев В. К. 1977. — Правило Гавлика и механизм падения славянских редуцированных // ВЯ, № 6, с. 30–43.

- Иванов В. В. 1968. — Историческая фонология русского языка. Москва.
- Колесов В. В. 1980. — Историческая фонетика русского языка. Москва.
- Кудрявцев Ю. С. 1980. — Напряженные редуцированные гласные в связи с проблемой праславянского и древнерусского звукового развития. Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. Ленинград.
- Кудрявцев Ю. С. 1993. — Две заметки по поводу падения редуцированных // Русский язык донационального периода. Санкт-Петербург. С. 13–20.
- Кузнецов П. С. 1965. — Фонетика // Борковский В. И., Кузнецов П. С. Историческая грамматика русского языка. Москва.
- Панов М. В. 1967. — Русская фонетика. Москва.
- Трубецкой Н. С. 1987. — Избранные труды по филологии. Москва.
- Шахматов А. А. 1910 — Schachmatoff Al. Die gespannten (engen) Vokale *i*, *y* im Urslavischen // AfSIPh, Bd. XXXI. S. 481–506.
- Щерба Л. В. 1983. — Русские гласные в качественном и количественном отношении. Ленинград.
- Якобсон Р. О. 1963. — Опыт фонологического подхода к историческим вопросам славянской акцентологии // American contributions to the Fifth International Congress of Slavists. Vol. 1. The Hague. P. 153–178.

NOCHMALS ZU DEN GESPANNTEN (ENGEN) VOKALEN *i*, *y*

Z u s a m m e n f a s s u n g

Die gespannten Vokale *i*, *y* wurden für den Urslavischen von Al. Schachmatoff postuliert (1910). Der Artikel soll einen Beitrag zu folgenden Fragen vorstellen: relative Entstehungschronologie; Phonemstatus — nach drei Perioden verschieden; Begründung von regionalen Sonderentwicklungen; Entwicklung des Anlauts: gemeinrussisches *i*- als Vokalisation von urslavischem **j*.

ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ И ПРОПОЗИЦИЯ

А. М. Кузнецов

Имя прилагательное в русском языке остается во многом загадочной категорией слов. С формальной стороны — это согласуемые с существительными слова, что выражается в наличии изменения по родам, числам и падежам. С лексико-семантической стороны — это слова со значением признака, что, казалось бы, дает основание не включать сюда местоименные согласуемые слова (“местоименные прилагательные”).

Однако уже на этом этапе определения мы сталкиваемся с трудностью: что значит **признак**? Обнаруживаются два понимания этого термина: первое — семантическое — имеется в виду, когда, например, говорят, что и прилагательное *синий*, и существительное *синева* оба обозначают признак; второе — синтаксическое — используется в том смысле, что прилагательные указывают на зависимость своего значения, несамостоятельность информационного содержания по отношению к существительному. Правда, это второе понимание **признака** традиционно считают лексико-семантическим, говоря, что прилагательное обозначает признак через отношение к другому предмету, названному этим прилагательным. Например, *автобусный билет* обозначает то же самое, что и *билет на автобус*, но прилагательное уже своей согласуемой формой подсказывает, что информация, им выражаемая, не является отдельным компонентом в составе сообщения, а мыслится вместе с существительным.

Сказать, что значение признака в первом и во втором случае — одной природы, вряд ли будет справедливо. Никакого семантического признака в прилагательном *автобусный* не обнаруживается, поэтому и не может быть слова **автобусность*. Различие выражений *автобусный билет* и *билет на автобус* иногда заключается в том, что билет на автобус приобретается до поездки, а *автобусный билет* можно *отпечатать*, *выбросить*, *предъявить в бухгалтерию*. Мы знаем выражения *автобусная остановка/экскурсия*, *автобусное управление*, но

невозможно сказать *автoбусный шофер/запах, *автoбусная форма. А прилагательное парoходный допускает, кажется, единственное существительное — парoходный гудок.

Утверждение, что за каждым прилагательным скрывается признак, приводит к ложному впечатлению, что прилагательные должны в равной мере использоваться как в определении, так и в сказуемом. Конечно, при этом давно замечено, что относительные прилагательные избегают позиции сказуемого, а если и попадают сюда, то обозначают классифицирующий признак: *обувь была итальянская*. У качественных прилагательных, считается, ограничения иного плана — возможность образования и использования с различными существительными краткой формы: *дерево было зелено и *лицо было зелено* (не говоря уже о стилистической окрашенности краткой формы). Тем не менее, качественные прилагательные признаются эталоном предикатных слов, а атрибутивные сочетания из качественных прилагательных и идентифицирующих имен — примером свернутой предикативной конструкции [Арутюнова 1976: 342–355]. На асимметричность определительной и предикативной конструкции с относительными прилагательными указывала Е. В. Падучева [1974: 142], приводя пример *страховой агент*, для которого исходным будет выражение *агент по страхованию*, а не *агент, который был страховым. При этом она считает, что данная проблема не столько синтаксическая, сколько словообразовательная.

Неудовлетворенность традиционной классификацией прилагательных — полусемантической, полуграмматической — с делением на качественные, относительные и притяжательные вызвала появление в русистике новых классификаций признаков слов. Особое внимание в связи с нашими проблемами привлекает классификация М. Ю. Сидоровой [1994]. К важнейшим выводам ее работы относятся следующие: 1) прилагательное может обозначать не только признак предмета, но и признак признака (*медленное падение листьев*), таким образом атрибутивное сочетание может обозначать два независимых признака одного предмета (*трезвая беседа*) или просто два однотипных признака с обратимыми отношениями (*среди шумного бала — среди бального шума*), 2) прилагательное мо-

жет обозначать лицо или предмет (*женский визг = визжат женщины, часовой мастер*). Подробно рассматриваются функционально-семантические типы признаков и их возможности в построении различных видов текста.

Однако и в этой работе не разбирается само понятие признака, а понятие **пропозиция** используется обычно в смысле “событие, называемое глаголом или отглагольными словами”. Вызывает сомнение правомерность использования этого термина по отношению к прилагательному в сочетании *мой шахматный партнер* (пропозицией должно здесь считать “пропущенное” слово *игра/играть*). Отсутствие в работе анализа возможностей употребления прилагательных в предикате (вместо предиката — пропозиция), сосредоточение внимания на атрибутивной роли не позволяет выявить в полной мере специфику прилагательного как части речи и “задачи” ее существования в языке.

Я предлагаю понимать под пропозицией тот общий смысл, который заключен в “синонимических” выражениях — предложении и словосочетании (*Я живу в Москве — Моя жизнь в Москве*), так что предложение и словосочетание образуют формальную (и коммуникативную) форму пропозиции. Семантическая (валентностная) структура пропозиции включает: ее имя (признаковое слово), актанты и локальные определители (не всегда). Пропозиция может иметь полную или неполную форму выражения, последнее — чаще. Но следует различать неполную форму и свернутую, под свернутой формой имеются в виду случаи опущения, пропуска имени пропозиции, вызванные не морфологическими причинами (нулевые формы глагола), а коммуникативными: *Я за тобой (стою? пришел?)* [Кузнецов 1996].

С этой точки зрения предложение *Яблоко (было) красное* представляет собой пропозицию в полном виде в предикативной форме. Эта пропозиция может получить атрибутивную (непредикативную) форму — *красное яблоко*. В данном примере имеем симметрию предикативной и атрибутивной форм. Будем считать исходной формой предикативную. В словосочетании наблюдаем атрибутизацию признака, связанную с решением определенного коммуникативного задания. Атрибу-

тивная форма используется в предложениях полипропозитивного характера

— интродуктивных:

бытийных (*На столе лежало красное яблоко* = *На столе лежало яблоко. Оно было красное*) и иной структуры (*Он увидел красное яблоко* = *Он увидел яблоко. Оно было красное*); признак и предмет “возникают” одновременно, предмет конкретный неопределенный;

— внутритекстовых:

различного характера (*Красное яблоко лежало на столе /оказалось гнилым / закатилось под диван/ вызывало аппетит; Он взял / заметил красное яблоко*); предмет конкретный определенный, признак известен из предтекста, необходимость упоминания признака должна быть оправдана, например, наличием нескольких однородных предметов и целями идентификации; возможно установление логических отношений между атрибутивным признаком и предикатом (*красное ... вызывало*); то же имеем в предложениях бытийных финитных (*На столе лежало красное яблоко* = *Яблоко было красное ... Оно лежало на столе*);

— общих (“генеретивных” по Золотовой):

(*Красное яблоко вызывает аппетит* = *Если яблоко красное, появляется аппетит*); предмет неконкретный неопределенный, признак логически связан с предикатом, например, причинными или условными отношениями.

Во всех приведенных случаях признаковая пропозиция имеет полный вид выражения, исключая грамматическое значение предикативности.

Если же возьмем сочетание *теплая ночь*, то обнаружим иные закономерности, поскольку здесь соединены две пропозиции, выражаемые предложениями *Была/стояла ночь* и *Было тепло*. Бипропозитивное сочетание может получить предикативную форму: *Ночь была теплой*. Использование этих конструкций ограничено рамками описательных контекстов. Здесь следует говорить не об атрибутизации, а об адъективации пропозиции. Кроме формы *теплая ночь*, возможен иной ход адъективации: *ночное тепло*, связанный с другой коммуникативной задачей. Но данное сочетание не получает

предикативной формы **Тепло было ночное*. Значение ‘состояние’ может предицироваться (*Ночь/печь/щека была теплой*), а значение ‘время’ — нет (**Поезд был ночной* — возможно ли в смысле ‘отправлялся ночью’?).

Ср. с этим конструкции *Был август, Была/стояла ночь = августовская ночь*. Невозможно: **Ночь была августовская*. Окачествление прилагательного позволяет и для такого рода сочетаний получить предикативную форму: *Мороз был крещенский (= крепкий)*, т.е. *Было Крещение. Стоял мороз* (а, как известно, *крещенские морозы лютые*).

Не всегда даже качественное прилагательное способно занять позицию предиката. В предложении *Мягкая, неслышная от глубокой пыли дорога в поле...* (И. Бунин. Волки) сочетание *неслышная дорога* не дает симметричных отношений с предикативной конструкцией **дорога не слышна*, поскольку *дорога* заменяет слово *езда*, таким образом выражение в полном виде должно выглядеть: *дорога, по которой езда не слышна от глубокой пыли / по которой не слышно как ездят*. Это индивидуально-авторское свертывание пропозиции с синонимической заменой пропозитивного имени *езда* на предметное *дорога*. Но в сочетании *легкий шрам*, обычном сочетании, наблюдаем такую же замену пропозитивного слова *ранение* (было *легкое*) на предметное, из-за чего атрибутивные отношения становятся необратимыми: невозможно **шрам был легкий*.

До сих пор примеры представляли случаи использования прилагательных с пропозитивным (признаковым) значением. Везде атрибутивное сочетание осложняло смысл предложения, превращая его в полипропозитивное высказывание (текст).

Что касается “актантных” относительных прилагательных, то они осложняют предложение не сами по себе. В предложении *...вовремя выскочили на собачий гам мужики с дубинами и отбили ее <овцу>...* (И. Бунин. Волки) пропозитивное осложнение происходит за счет самого пропозитивного имени *гам*, а не за счет прилагательного *собачий*. Вместе они образуют непредикативную форму пропозиции, которая может быть транспонирована в предикативную только при помощи

синонимической замены: *собаки лаяли/шумели*. Прилагательное не является именем пропозиции, почему и невозможно сказать * *там был собачий* (ср. *холод был собачий*).

Точно так же ошибкой было бы сказать, что прилагательное в примере М. Ю. Сидоровой *мой шахматный партнер* является именем пропозиции (невозможно * *партнер был шахматным*). Здесь мы имеем свернутую пропозицию: ср. *партнер по игре в шахматы*, где пропозиitivное имя присутствует. Иначе почему бы сочетание *детский врач* не рассматривать как “пропозиция” + лицо”? М. Ю. Сидорова все-таки описывает его как “лицо-объект + лицо-субъект” (*врач лечит детей*), т.е. пропозиция имеет свернутый вид.

Относительные прилагательные, образованные от существительных с предметным значением, всегда представляют собой свернутую пропозицию. Недаром в толковых словарях их значение описывается при помощи полного развертывания пропозиции: *деревянный ‘сделанный из дерева’* или *ручной ‘производимый руками’*. Прилагательные отглагольные и образованные от пропозиitivных существительных сохраняют, естественно, пропозиitivную семантику. Их толкование в словарях сложнее: *часовой ‘длежащийся час’*, *голодный ‘вызванный голодом’*, *надувной ‘надуваемый воздухом’* и т.д.

В любом случае при образовании относительного прилагательного происходит свертывание информации до какого-то намека. Восстановить информацию можно только обладая внеязыковым и языковым опытом. Не имея такового, как понять, например, сочетание *небесный тихоход*? Значение прилагательного станет понятно в какой-то мере, только если будет известно, что такое здесь *тихоход*.

Образование и использование прилагательных с теми или иными существительными по-разному регламентируется в различных типах русской речи (в литературном языке и просторечии, диалектах: ср. в речи ребенка *бутылочный отдел* — (по продаже напитков / приему стеклотары?) и разнится от эпохи к эпохе (ср. в др.-рус. *ручный перст* и *палец руки* в совр. рус.).

Итак, атрибутизация пропозиции представляет собой довольно простой тип транспозиции предикативного прилага-

тельного, а адъективация пропозиции выглядит часто как сложный процесс свертывания семантической информации, сдерживаемый нормами языка. Адъективация не рассчитана на то, что прилагательное должно занять место предиката, — ее смысл в противоположном: скрыть предикат в составе полипропозитивного высказывания.

ЛИТЕРАТУРА

- Арутюнова Н. Д. 1976. — Предложение и его смысл. Москва.
Кузнецов А. М. 1996. — Основная единица синтаксиса // *Valoda*-1995. Daugavpils.
Падучева Е. В. 1974. — О семантике синтаксиса. Москва.
Сидорова М. Ю. 1994. — Функционально-семантические свойства имен прилагательных в современном русском языке. АКД. Москва.

THE ADJECTIVE AND THE PROPOSITION

S u m m a r y

Not all Russian adjectives can be transposed from the attribute into the predicate. But those which take up predicative position can be easily transposed into the attribute. It concerns the qualitative adjectives, their transposition may be explained as attributization. In this case the structure of proposition remains complete. Most of the relative adjectives are used for condensing the propositional structure, therefore they cannot be transposed into the predicate. We cannot agree that these adjectives denote any property, the proposition is merely adjectivised, i.e. it has acquired a dependent syntactic form.

НАБЛЮДЕНИЯ НАД ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАННОСТЬЮ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

И. П. Кюльмоя

Термином “засвидетельствованность” (эвиденциальность) Р. О. Якобсон предложил назвать “глагольную категорию, учитывающую три факта — сообщаемый факт, факт сообщения и, кроме того, передаваемый факт сообщения, то есть указываемый источник сведений о сообщаемом факте” [Якобсон 1972: 101]. Р. О. Якобсон относит эту категорию к шифтерным. Однако при помощи глагольной категории засвидетельствованность выражается в сравнительно небольшом количестве языков, в других же эта семантика передается лексическими или лексико-синтаксическими средствами. Поэтому под эвиденциальностью (засвидетельствованностью) стали понимать не только глагольную категорию, но и целую “область рамочных значений, представляющих собой указание на источник сведений: говорящий сообщает о событии, основываясь на сообщении какого-либо другого лица, на снах (сведения, полученные путем откровения), на догадках (предположительные сведения) — косвенная засвидетельствованность; на собственном прошлом опыте (сведения, извлекаемые из памяти) — прямая засвидетельствованность” [Козинцева 1994: 92].

Одним из языков с грамматикализованной эвиденциальностью является эстонский, имеющий специальное наклонение — квотатив, указывающий на то, что говорящий не был очевидцем события (действия), о котором он сообщает, и поэтому снимает с себя ответственность за достоверность информации. Квотатив имеет собственный формальный показатель — суффикс *-vat*, присоединяемый к основе вспомогательного (в прошедшем времени) или основного (в настоящем) глагола. Несмотря на имеющуюся специализированную грам-

грамматическую категорию, засвидетельствованность (точнее было бы говорить о маркированном несвидетельском отношении к событию) может быть вторичным значением целого ряда грамматических форм глагола, кроме того, данная семантика может передаваться, как и в русском языке, при помощи лексических и лексико-семантических средств [EKG II 1993: 36–37; Kõlmoja 1996]. В терминах функциональной грамматики об эвиденциальности в эстонском языке можно говорить как о моноцентрическом функционально-семантическом поле с целостным грамматическим ядром (т.е. опирающимся на грамматическую категорию) [Теория 1987: 34].

Усвоение столь разветвленной системы средств выражения данной семантики представляет определенные трудности при изучении эстонского языка русскими, т.к. функционально-семантическое поле эвиденциальности в русском языке является полицентрическим, и в нем отсутствует единая целостная система грамматических форм, центр поля образуется множеством неоднородных языковых средств, поэтому с точки зрения преподавания эстонского языка русским и русского языка эстонцам, а также типологического описания языков рассмотрение засвидетельствованности может быть полезно.

К средствам выражения эвиденциальности в русском языке обычно относят частицы *де, дескать, мол, якобы* (проблематика засвидетельствованности в русском языке чаще всего и затрагивается в связи с исследованием именно этих слов [Арутюнова 1992; Баранов 1994; Перфильева, Хальзова 1991; Перфильева 1992; Колодезнев 1969], в более общем плане ее касается [Иванова 1980]), т.н. “квотативы” *кажется, вроде, как будто, говорят* [Булыгина, Шмелев 1992], вводно-модальные слова типа *по-видимому, очевидно, значит*, формы императива при непрямом цитировании [Козинцева 1994], а также некоторые лексико-синтаксические средства: сложно-подчиненное предложение с придаточным изъяснительным, подчиненным модусному глаголу: *Говорят, что...*; вводный оборот с модусным глаголом, чаще всего глаголом речи: *говорят, ..., как считают, как пишут*; вводные слова, характеризующие сообщение по источнику: *по слухам, по мнению*

кого-либо, с точки зрения кого-либо, по-твоему, как оказалось, как известно, по словам, по сообщению, по выражению. Так как вводные слова “всегда так или иначе характеризуют сообщаемое с позиций говорящего, выражают отношение говорящего к сообщаемому” [РГ II 1980: 229], то вполне логична их доминирующая роль и при выражении значения засвидетельствованности. К названным средствам следует добавить еще полусвязочные глаголы *считаться*, *слыть* (*Он считается/слывет умным человеком*), употребляемые для сообщения “о признаке предмета не на основании своего наблюдения, а ссылаясь на мнение других лиц, при возможности своего незнания, сомнения или несогласия” [Золотова 1973: 220].

Всякое засвидетельствованное высказывание, имеющее дело с передачей информации, т.е. с миром суждений о реальности, представляет собой частный случай пропозитивного высказывания. Передаваемая информация в этом случае является пропозицией, а ссылка на ее источник и модально-оценочный комментарий — эксплицитным модусом, выявляющим автора высказывания. Небезынтересно отметить, что если в русском языке эксплицитный модус требует лексических или синтаксических средств выражения, то в эстонском он может проявляться на морфемном уровне.

Полицентричность ФСП засвидетельствованности в русском языке обуславливает семантические варианты, зависящие от характера источника информации (по выражению Н. А. Козинцевой — хозяина информации). Русский язык допускает такое осмысление засвидетельствованности, когда говорящий сам является хозяином/источником информации, т.е. говорящий является субъектом пропозиции/участником ситуации, о которой сообщает. То, что он дистанцируется от сообщаемого события во времени, позволяет ему употреблять частицы, обычно используемые при передаче чужих слов. Происходит некоторое отстранение от “сообщаемого факта”, однако не в той мере, чтобы говорящий мог снять с себя ответственность за его достоверность. Эвиденциальные высказывания такого типа не связаны с эпистемической модальностью, представляя собой “самоцитирование”: *Я хозяину-то*

его говорю: я, мол, Филиппов отец (И. Тургенев); Я ему сказал, что это, дескать, вздор и чепуха (В. Белинский); Я их тоже, с своей стороны, уверяю, что ничего, дескать, а у самого душа в пятки уходит (И. Тургенев). Могут использоваться все вышеназванные квотативные частицы, обычно считающиеся средством передачи чужих слов (в 4-томном “Словаре русского языка” лишь по поводу *мол* говорится, что эта частица может употребляться “для указания на то, что приводимые слова сказаны говорящим, но в другое время” [СРЯ-4 1982: 289], у *де* и *дескать* эта возможность не отмечена ни в названном словаре, ни в новом 20-томном [ССРЛЯ-20 1993: 90, 193], где такое уточнение могло бы быть сделано). Более частотны здесь *мол* и *дескать*, в некоторых случаях возможно и *де*, семантически допустимо, но тавтологично было бы *говорю* в качестве вводного слова, которое, кстати, встречается иногда в просторечии, ср.: *Я хозяину-то его говорю: я, говорю, Филиппов отец.

Своеобразное самоцитирование наблюдается и в побудительных высказываниях, когда говорящий предписывает адресату совершить определенные речевые действия (*спросите, скажите*) с указанием слов, которые он должен при этом произнести: Ну, да, так спроси у ней, куда, мол, она мою книжку дела? (И. Тургенев); Ну что ж, товарищ Косоногов, — говорили ему приятели перед отъездом, — поедете, так уж вы, того, поагитируйте в деревне-то. Скажите мужичкам: вот, мол, авиация развивается... (М. Зощенко); Скажи барину: гости-де ждут, щи простынут (А. Пушкин). Небезынтересно отметить, что А. А. Шахматов считал данное употребление первичным значением *мол*, восходящим к форме 2-го лица единственного числа повелительного наклонения *молвь*, которая вводит “прежде всего те слова, которые должны быть переданы собеседником 3-му лицу по поручению говорящего” [Шахматов 1941: 267–268], и лишь вторичным “то значение, которое оно имеет при передаче чьих-либо слов, где можно было бы ожидать *молвил, молвлю*” [Шахматов 1941: 268]. Сходным образом он рассматривает и *де*, указывая, что оно является редуцированным произношением формы 2-го лица единственного числа повелительного наклоне-

ния *дѣй* от *дѣяти* в значении *говорить*. Первоначальное значение то же, что у *мол*, но уже судя по примеру из “Повести временных лет” под 986 годом “*дѣй* заменило как вводное слово форму *дѣть*, *дѣють* и таким образом стало служить для введения в речь чужих слов. *Вдруг приезжает к нам чиновник: приказано де осмотреть магазины* (И. Тургенев)” [там же].

Тем не менее прямая засвидетельствованность в некоторой степени аномальна, говорящий может и не подчеркивать свою “отстраненность”, все названные средства выражения этого значения в русском языке факультативны, а сам данный тип является периферийным. В эстонском языке, например, в таких высказываниях (воспоминания, самоцитирование) невозможно употребление ни одного из многочисленных средств выражения эвиденциальности, семантика засвидетельствованности там всегда связана с опосредованным сообщением.

Некоторые разновидности **косвенной** засвидетельствованности в русском языке сближаются с прямой по ряду признаков, являясь, по-видимому, некими переходными типами. Один из таких типов — рассказ о сновидении. Говорящий — хозяин информации, при этом он может быть и субъектом пропозиции, если он видел во сне сам себя, но в отличие от воспоминаний ситуация не контролировалась им, поэтому он представляет ее с некоторым оттенком сомнения в достоверности, что и побуждает его использовать определенные средства выражения эвиденциальности. В отличие от прямой данный тип засвидетельствованности тесно связан с эпистемической модальностью. Наиболее типичная синтаксическая структура — изъяснительное предложение с союзами *будто*, *якобы*: *В день своей смерти она сон видела, будто пришел барин старый и с белою собакой...И похоронили барыню* (А. Ремизов); *И вот тут начался у Андрея кошмар. Будто ротный бьет Андрея, и будто Андрей его тоже бьет. А бьет ни по чему, по воздуху, никак попасть не может...* (М. Осоргин); *Еще снилось мне, якобы иду я по вековому лесу* (М. Горький). В то же время в рассказах о снах средства выражения эвиденциальности необязательны, рассказчик может и не употреблять их, в этом случае он представляет ситуацию как

совершенно достоверную: *Мне приснилось, я сидел у окна. Выходило окно в беззвездную ночь. За стеною возлились какие-то дети...* (А. Ремизов).

К несколько особому типу засвидетельствованности относится умозаключение. Здесь говорящий не является ни субъектом пропозиции, ни хозяином информации. Логический вывод о положении вещей он делает на основе наблюдаемых им последствий каких-то событий, действий или состояния или в результате собственного рассуждения, а не чьего-либо сообщения, т.е. на основе косвенных данных. Как отмечает Д. Остин, “знание из “вторых рук” или из авторитетного источника — это не то же самое, что “знание, полученное косвенным путем” (*knowing indirectly*) [Остин 1987: 55], это отличает умозаключение от центральных типов косвенной эвиденциальности, однако в некоторых языках (тепехуан, винту) умозаключение относится к числу эвиденциальных высказываний со своими специальными средствами выражения [Willett 1988: 65]. Поэтому с точки зрения типологического описания правомерно рассмотрение логического вывода (инференциального высказывания) в качестве одного из типов косвенной засвидетельствованности. В то же время для русского языка, по-видимому, возможно и иное рассмотрение инференциальных высказываний, тем более что и языковые средства здесь отличаются от обычно используемых для выражения засвидетельствованности; в научных текстах это вводные слова *следовательно, итак, оказывается: Наконец, если идти еще дальше, то оказывается* [т.е. на основе предыдущего можно сделать вывод — И. К.], *что начало всех органических существ... — клеточка — сходна у всех животных и растений* (К. Тимирязев); *Следовательно, то же единство типа, связующее ныне существующие формы между собою, связывает их и с формами, давно отжившими* (К. Тимирязев). При этом сообщаемый факт говорящий представляет как более или менее достоверный, не снимая с себя ответственности за содержание сообщения, хотя объективно логический вывод может и не быть верным (основанным на ложных посылках, когда наблюдаемые последствия не дают достаточных оснований для такого вывода). Если говорящий аб-

солютно уверен в правомерности вывода, в разговорной речи или ее имитации в художественном тексте используются конструкции с вводными словами *значит, выходит, стало быть*: *Родятся люди, женятся, умирают, значит, так нужно, значит, хорошо* (А. Островский); *Облака двигались к западу. Значит, рассчитывать на то, что погода разгуляется, не приходилось* (В. Арсеньев); *Выходит, и ездовому можно отправляться восвояси* (Ю. Нагибин); *А ты, батюшка, стало быть, тут в сторожах?* (А. Чехов). При меньшей степени уверенности — конструкции, содержащие вводные слова с компонентами *верно, видно* или их производными, а также *должно быть*: *Стол Марины был чисто прибран, лампа потушена — видно, директор отпустил секретаря домой* (Ю. Нагибин); *По улицам слона водили, как видно, напоказ* (И. Крылов); *Окна были закрыты жалюзи. Очевидно, в доме все еще спали* (А. Чехов); *Верно, был он героем, если столько о нем говорят* (К. Симонов); *Слышно было, как где-то далеко, очень далеко, должно быть, за городом кричали лягушки* (А. Чехов).

К центральным типам эвиденциальности, соответствующим конструкциям с пересказывательным наклоном в болгарском и косвенным наклоном в эстонском, относятся высказывания, содержащие указание на опосредованность сообщения, на то, что говорящий сам не был свидетелем/участником события и сообщает о нем, ссылаясь на слова непосредственного свидетеля или участника. Такие высказывания наиболее многочисленны и нуждаются в детальном рассмотрении. Попытаемся сделать это, приняв за основу **признак определенности/неопределенности** источника сообщения, который, в свою очередь, связан с большей или меньшей степенью достоверности информации.

При ссылке на неопределенный источник информации используются вводные обороты, представляющие собой неопределенно-личные предложения или синонимичные им конструкции: *Великий Тит плакал, говорят, о том дне, который проводил, не сделав доброго дела, но мы — о, пример истинного великодушия! — мы проживаем лет по пятидесяти попустому и ни разу о том не поплачем* (И. Крылов); *Климат*

тифлисский, сказывают, нездоров (А. Пушкин); *По слухам* (=говорят), *атаман Краснов в Новочеркасске бился головой о стену, узнав об этом своем втором страшном разгроме под Царицыном* (А. Н. Толстой); *Магнитофильмы вот говорят можно достать/ да? А вот еще кроме этого есть иль нет?* (Русская разговорная речь); *Тут что-то есть, — ответил я, хотя этот дед и считается* [=так полагают и говорят об этом — И. К.] *самым пустяковым стариком от Спас-Клепиков до Рязани* (К. Паустовский). Источник информации может быть точно не известен говорящему или источников может быть в реальности несколько, поэтому автор сообщения отстраняется от ответственности за достоверность сообщения. Иногда, однако, говорящий не хочет точно указывать источник сообщения или конкретный источник неважен: *Он ехал теперь по Яузскому мосту, где, ему сказали, был Кутузов* (Л. Толстой); *По дошедшим до нас сведениям, "Радио-100" планирует выпуск кассеты с песнями из популярной радиопередачи "Хит-компот"* (Эстония 24.01.96); *Говорят/кажется, ты едешь в Германию? Я, оказывается, был очень спокойным ребенком.* Следует отметить, что *кажется* в качестве маркера "чужой" речи может использоваться только с существительными или местоимениями 2-го и 3-го лица преимущественно при глаголах НСВ. При местоимении 1-го лица *кажется* выражает лишь неуверенность говорящего (ср.: *я, кажется, еду*), тогда как ссылки на источник сообщения в данном случае нет. Менее избирательным по сочетаемости является *оказывается/как оказалось*, которое не налагает таких ограничений, и все-таки определенная связь с категорией лица прослеживается и здесь: при употреблении местоимения 1-го лица все высказывание является однозначно эвиденциальным ('мне об этом сказали'), при местоимениях 2-го и 3-го лица возможно двоякое понимание предложения *Он, оказывается, не уехал*: а) 'мне об этом сказали' б) 'я это вижу'. Наиболее специализированными выразителями неопределенности источника сообщения являются *ему сказали* и *по дошедшим до нас сведениям*, тогда как *говорят, кажется, оказывается* могут передавать и другие интенции говорящего, не связанные с эвиденциальностью.

Источник сообщения может быть определенным, т.е. конкретным и известным для говорящего: *По словам Таммисту, департамент старается закончить проверку всех аспектов соглашения хлебного союза как можно быстрее* (Эстония 24.01.96.); *В доказательство дед показывал порванные штаны: черт якобы клонул деда в ногу* (К. Паустовский); *Девчонка воротилась, объявляя, что барышня почивала-де дурно, но что ей-де теперь легче и что она-де сейчас придет в гостиную* (А. Пушкин); *По данным газеты "Северное побережье", Якушев обвинен в том, что с сентября 1995 года по февраль этого года принимал взятки от руководства магазина, принадлежавшего фирме "Эхитая"* (Русская газета 26.11.96); *Как заявили депутаты от Русской партии Эстонии в своем обращении к политическим и общественным силам, принятый 21 ноября в парламенте закон о ратификации рамочной конвенции о защите прав меньшинств распространяет действие европейской конвенции только на граждан Эстонии* (Русская газета 3.12.96); *Как сообщил историк Эльмар Эрнитс, у Эстонии нет причин отказываться от восточной границы и сохранения своей территориальной целостности* (там же). Говорящий может ссылаться на определенный источник с целью отстраниться от ответственности за содержание сообщения, достоверность информации не подвергается сомнению. Источником сообщения обычно является некое третье лицо, не участник коммуникации, гораздо реже говорящий ссылается на слова или сообщение собеседника: *Б. Но одновременно ты говоришь и микромир вы еще пока не знаете // А. Конечно.* (Русская разговорная речь); *Третье "наслоение" ты считаешь самым неорганическим и даже выражаешь надежду, что это, мол, только временная блажь, и что всё может еще оказаться по-старому* (Г. О. Винокур). Иногда говорящий приписывает определенному источнику сообщения слова, комментирующие данную ситуацию или определенный жест, которые в реальности вообще не произносятся, а существуют лишь в воображении говорящего: *А милиционер еще раз, когда народ разошелся, подошел без калош до этого участка, но его снова дернуло. Тогда он покачал головой — дескать, научное явление, и пошел стоять*

на свой перекресток (М. Зощенко); *Чтец старается выйти из круга, но его не пускают. Не пускают и поглядывают на нас: ну, как, мол?* (Б. Полевой). Средства выражения засвидетельствованности зависят также от принадлежности высказывания к тому или иному стилю, в разговорной речи это чаще всего частицы, в официально-деловом тексте — вводные предложения, в публицистике в зависимости от жанра могут быть и те, и другие.

Присущее всем эвиденциальным высказываниям, кроме умозаключения, значение отстранения говорящего от ответственности за достоверность сообщения может сопровождаться различными прагматическими коннотациями, из которых наиболее частотно значение несогласия с сутью передаваемой информации и вытекающее из этого неодобрительное отношение к ней: *Преподавание древней словесности в прежней школе считалось труднейшим делом, потому будто бы, что она очень далека от современного сознания учеников* (М. Пришвин); *Тут публика стала выражаться. Мол, как это можно? Если часы — пропалса, то обязательно люди в угрозыск ходят и заявляют* (М. Зощенко); *Сейчас некоторые склонны думать (и писать), что-де, мол, моя актерская принадлежность имеет совершенно конкретную направленность к добру, к человечности* (И. Смоктуновский); *Ты послушай, что он тут наговорил: “живи я где-то на горе, поезжай в Египет или в Америку”* (И. Гончаров) (пример Н. А. Козинцевой); *Ему хочется пыль пустить, а я вот сиди и работай для него, как каторжный* (А. Чехов). В последнем примере говорящий ссылается скорее всего на воображаемые слова (передаваемые квазиимперативом) вполне конкретного лица — источника информации, с которыми он не может согласиться. С квазиимперативом, отражающим воображаемые слова **воображаемого** источника информации связан и другой прагматический смысл — призыв к сочувствию, сопереживанию, приглашение “войти в положение”: *Постель жесткая, холодная, отдающая гостиницей. Воду наливай себе сам, раздевайся сам... ходи босиком по холодному полу...* (А. Чехов); *Я женщина беззащитная, слабая... Замучилась досмерти... И с жильцами судись, и за мужа хлопочи, и по хозяйству бегай, а*

тут еще говею и зять без места... (А. Чехов); *Ведь у меня сколько расходов — знаешь ли ты? Конца краю, голубчик, расходам у меня не видно. Я и тому дай, и другого удовлетвори, и третьему вынь да положи!* (М. Салтыков-Щедрин). Наиболее “прагматизированной” из всех квотативных частиц является *якобы*, тесно связанная с эпистемической модальностью и всегда вносящая значение сомнения в достоверности информации, полученной говорящим “из вторых рук”: *В доказательство дед показывал порванные штаны: черт якобы клюнул деда в ногу* (К. Паустовский); *Церковь не признает закон эволюции, потому что закон якобы отрицает божественное происхождение человека* (В. Войнович); [*Смордин*] *заговорил о недавней статье Кунина, в которой старик якобы впал в идеализм* (Д. Гранин). Синкретичные с эпистемической модальностью квотативные средства *кажется*, *вроде (бы)*, *будто (бы)*, а также нейтральное *говорят* могут сопровождаться коннотацией удивления: *Ты ведь, кажется/вроде (бы)/будто (бы)/говорят, уехал в Финляндию?*

Общее значение отстранения от ответственности за содержание информации, легко допускающее коннотацию несогласия или сомнения, с трудом сочетается со значением согласия, которое требует большей поддержки контекста и выражено менее явно: *Главная причина — народ уж очень нервный. Оно, конечно, после гражданской войны нервы, говорят, у народа завсегда расшатываются* (М. Зощенко); *Говорят, против алкоголя наилучше действует искусство. Театр, например. Карусель. Или какая-нибудь студия с музыкой. Все это, говорят, отвлекает человека от выпивки с закуской* (М. Зощенко).

ЛИТЕРАТУРА

- Арутюнова Н. 1992.— Речеповеденческие акты в зеркале чужой речи // Человеческий фактор в языке: Коммуникация, модальность, дейксис. Москва. С. 40–52.
- Баранов А. 1994. — Заметки о ДЕСКАТЬ и МОЛ // ВЯ, № 4, с. 114–124.

- Булыгина Т., Шмелев А. 1992. — Модальность // Человеческий фактор в языке: Коммуникация, модальность, дейксис. Москва. С. 110–153.
- Золотова Г. 1973. — Очерк функционального синтаксиса русского языка. Москва.
- Иванова Г. 1980. — О способах выражения опосредованного высказывания // Семантико-стилистические исследования текста и предложения. Ленинград. С. 65–70.
- Козинцева Н. 1994. — Категория эвиденциальности (проблемы типологического анализа) // ВЯ, № 3, с. 92–104.
- Колодезнев В. 1969. — О значении частиц “МОЛ”, “ДЕ”, “ДЕСКАТЬ” // Русский язык в школе, № 1, с. 90–92.
- Остин Дж. 1987. — Чужое сознание // Философия, логика, язык. Москва. С. 48–95.
- Перфильева Н., Хальзова Ю. 1991. — Семантика высказываний с частицами МОЛ, ДЕ, ДЕСКАТЬ // Семантический и прагматический аспекты высказывания. Новосибирск. С. 86–94.
- Перфильева Н. 1992. — Модальная частица *якобы* // Модальность в ее связях с другими категориями. Новосибирск. С. 121–130.
- РГ II. 1980. — Русская грамматика. Т. II. Москва.
- СРЯ-4. 1982. — Словарь русского языка. В 4-х томах. Т. II. Москва.
- ССРЛЯ-20. 1993. — Словарь современного русского литературного языка. В 20-ти томах. Т. IV. Москва.
- Теория 1987. — Теория функциональной грамматики: Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. Ленинград.
- Шахматов А. 1941. Синтаксис русского языка. Ленинград.
- Якобсон Р. 1972. Шифтеры, глагольные категории и русский глагол // Принципы типологического анализа языков различного строя. Москва. С. 95–113.
- EKG II 1993. — Erelt, M., Kasik, R., Metslang, H., Rajandi, H., Ross, K., Saari, H., Tael, K., Vare, S. Eesti keele grammatika. II. Tallinn.
- Külmoja, I. 1996. — Evidentsiaalsuse semantikast eesti ja vene keeles // Emakeel ja teised keeled II. Ettekanded. Tartu. Lk. 55–60.
- Willett Th. 1988. — A cross-linguistic survey of the grammaticalization of evidentiality // Studies in language, V. 12, № 1.

OBSERVATIONS ABOUT THE EVIDENTIALITY
IN THE RUSSIAN LANGUAGE

S u m m a r y

There is no grammatical category of the evidentiality in the Russian language, this meaning is expressed lexically (particles *де*, *дескать*, *мол*, *якобы*) and lexically-syntactically (parenthetical words and clauses, explanatory sentences, material copulas *считаться*, *слыть*). The given article considers semantical variants of the evidentiality in Russian: the direct evidentiality, when a speaker cites his own words ("self-quotation"); 2) the indirect evidentiality, when a speaker refers to a message of another person. The narrations about the dreams and the syllogisms present a transitional type from the direct evidentiality to the indirect evidentiality. Means of expressing of given types of evidentiality are determined by their connection with the epistemic modality. Expressions, demonstrating the indirect evidentiality, are considered in dependence on the definiteness/indefiniteness of the source of information.

ВЫРАЖЕНИЕ ПОСЕССИВНОСТИ В ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ПРИДАТОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ

(на материале эстонского и русского языков)

С. Мельцер

Для выражения посессивных отношений эстонский и русский языки в качестве одной из возможных синтаксических структур используют присубстантивные придаточные предложения с относительными местоимениями (в дальнейшем — ПСП), однако при этом в сопоставляемых языках наблюдаются существенные различия.

Под ПСП мы будем иметь в виду “предложение с ориентированной анафорической связью, в котором относительное слово (местоимение) отсылает к отдельному компоненту главного предложения; поэтому относительные местоимения имеют двойную синтаксическую и семантическую связь: с существительным главного предложения и сказуемым придаточного предложения” [Лопатин, Милославский, Шелякин 1989: 125]. Напр.: 1) *Зову тебя не для того, Чтоб укорять людей, чья злоба Убила друга моего.* (А. Пушкин). 2) *К сознанию человека подключаются сложные этические, религиозные, эстетические, бытовые и другие семиотические нормы, на фоне которых складывается психология группового поведения.* (Ю. М. Лотман). При этом относительное местоимение не только замещает то или иное имя главного предложения, но и указывает на наличие посессивных отношений, характеризуя обозначенные в главном предложении лицо или предмет. Именно поэтому присубстантивные придаточные предложения [Современный русский язык 1981: 54] в различных источниках рассматриваются как придаточные, выражающие атрибутивно-выделительные и атрибутивно-присоединительные отношения [Максимов, Крючков 1969] или

присубстантивно-определятельные отношения [Русская грамматика 1980: 516].

Притяжательные относительные местоимения (ПОМ) *чей*, *который* выполняют в относительных присубстантивных предложениях функции союзных слов, заменяя то или иное субстантивное имя главного предложения, и выступают или 1) вместе с выделительными местоимениями *тот*, *такой*, указывающими на обязательное следование относительного местоимения в придаточном предложении, или 2) без выделительных местоимений. Напр.: 1) *Едва ли найдется такой человек, душа которого не дрогнула бы при виде этой картины.* 2) *Мы въезжали в большой, прославившийся своими ремеслами поселок Мстеру, в домах которого зажигался свет.* (В. Солоухин).

Как известно, ОМ *чей*, *который* в русском языке не дифференцированы в формальном отношении от вопросительных местоимений-прилагательных. Различие в функциях этих местоимений достаточно определенно гарантируется только контекстом. *Чей* как притяжательная форма местоимения *кто* всегда предполагает соотнесенность с лицом и включается в парадигматический ряд вместе с дейктическими посессивными (притяжательными) местоимениями *мой*, *твой*, *наш*, *ваш* и с дейктическим притяжательным местоимением одушевленного 3-го лица *его*, *наш*, объединяясь общим семантическим признаком принадлежности: *его (брата) книга* — чья? — *но его (маршрута) длина* — длина чего? Таким образом, притяжательное относительное местоимение *чей* в русском языке всегда опирается на наличие признака “лицо”: *Писатель, чью книгу ты изучаешь, интересуется и меня.*

Далее, в русском языке в качестве средства, способного в рамках сложного предложения с придаточным относительным передавать посессивные отношения, может выступать род. падеж относительного местоимения *который*, и референции его, не ограничиваясь только лицами, являются немаркированными, т.е. могут быть и личностными, и предметными: *Олег внимательно наблюдал за человеком/девушкой, походка которого/которой напомнила ему брата/сестру. Тогда Никанора Ивановича посетило сновидение, в основе которого,*

несомненно, были его сегодняшние переживания. (М. Булгаков).

Следует отметить, что в качестве средства передачи посессивных отношений в рассматриваемых нами конструкциях может выступать лишь беспредложная форма род. падежа ОМ *который*, — в иных случаях семантическая функция данного местоимения трансформируется в заместительную-определятельную [Лопатин, Милославский, Шелякин 1989: 125]: “*А у вас разные, что ли, есть?*” — *мрачно спросил поэт, у которого папиросы кончились.* (М. Булгаков). Ср.: “*А у вас разные, что ли, есть?*” — *мрачно спросил поэт, папиросы которого кончились.* Или: “*А у вас разные, что ли, есть?*” — *спросил поэт, чьи папиросы кончились.* Выбор формы род. падежа в рассматриваемых нами конструкциях не случаен: одно из основных значений генитива заключается в выражении принадлежности.

Таким образом, посессивность в ПСП в русском языке может выражаться местоимением *чей* в соотнесенности с лицом или ОМ *который* в род. падеже и в личностном, и в предметном значении. По частоте употребления *чей* значительно уступает местоимению *который*.

В эстонском языке ПСП соответствует одна из разновидностей *põimlaused*: “*relatiivlaused, mille sidend on viiteseoses pealause elemendiga*” [Eesti keele grammatika 1993: 311] (т.е. относительные предложения, связующее звено в которых указывает на элемент в главном предложении). Русским же ОМ соответствуют *siduvad v. relaatiivsed proppoomenid kelle, mille, kumb* (относительные, или связующие местоимения). При этом в соответствующих ПСП конструкциях в эстонском языке наблюдается дифференциация денотатов на лица и не-лица: описанную выше функцию местоимения *чей* выполняет вопросительное местоимение *kelle*, выступающее в данном случае в функции относительного местоимения, выражающего посессивность, и в таких конструкциях наблюдается исключительно личностный характер референции. Следовательно, область посессивных отношений, выражаемых при помощи притяжательно-относительного местоимения *чей*, можно приравнять к сфере посессивных

отношений, выражаемых эстонским ОМ *kelle*: *Из ворот вышла Александра Ивановна, ведя за собой ту самую девочку, чьи резвые ноги так часто пересекали Тане дорогу* (Р. Фраерман). // *Väravast tuli välja Aleksandra Ivanovna, vedades sama tüdrukut, kelle kärmed jalad nii tihti Tanja ees üle tee läksid.* (R. Fraerman). *Kõrgrenessansi ajal töötas Itaalias kolm suurt meistrit, kelle elutöös peegeldub kogu see huvitav kunsti- ja kultuurijanune ajastu.* (T. Viirand) // *В это время в Италии работали три великих художника, чье творчество отражает во всей полноте эту замечательную эпоху.* (Т. Вийранд). Используя метод субституции, мы убеждаемся в том, что если в приведенных выше примерах на эстонском языке возможно употребление только одного ОМ, *kelle*, то в текстах на русском языке возможны варианты: *Из ворот вышла Александра Ивановна, ведя за собой ту самую девочку, резвые ноги которой так часто пересекали Тане дорогу. В это время в Италии работали три великих художника, творчество которых отражает во всей полноте эту замечательную эпоху.* Приведенные замены возможны постольку, поскольку референция ОМ *который* может быть и личностной, и предметной. Данные варианты предложений, обладая семантическим тождеством, имеют различные стилистические оттенки: конструкции с ОМ *чей* более характерны для текстов книжного стиля с приподнятой тональностью. В эстонском языке такие замены невозможны.

В отличие от ПОМ *kelle*, которое способно отсылать только к существительному со значением лица, а не предмета, в функции ПОМ с однозначной предметной референцией в эстонском языке выступает местоимение *mille* (генитив вопросительного местоимения *mis*?): как в русском, так и в эстонском языке одна из основных функций родительного падежа — выражение значения принадлежности: *Надя повела ребят светлым коридором, окна которого выходили на город* // *Nadja viis lapsed mööda valget koridori, mille aknad olid linna poole.*

Как отмечает М. Эрелт [Erelt 1996: 12], при выборе местоимений *kes/mis*, *kelle/mille* необходимо учитывать по меньшей

мере два фактора: иерархию одушевленности (animacy hierarchy) — человек/высшие животные/низшие животные/неодушевленные предметы и б) шкалу индивидуальности (individuality hierarchy) — индивид/группа/коллектив. При этом по отношению к человеку употребляется лишь местоимение *kes/kelle*, по отношению к неодушевленным существительным — *mis/mille*. Кроме того, наблюдается ряд переходных случаев, не всегда поддающихся интерпретации. Представляется возможным предположить, что изучение данного вопроса в сопоставительном плане могло бы способствовать разрешению проблемы.

Однозначная предметная соотнесенность *mille* сохраняется в любом случае, хотя иногда по воле переводчика *mille* заменяется исходной формой *mis/что, который*, — но такая субституция влечет за собой трансформацию всей структуры предложения: *Тогда Никанора Ивановича посетило сновидение, в основе которого, несомненно, были его сегодняшние переживания.* (М. Булгаков) // *Nüüd külastas Nikanor Ivanovitši unenägu, mis kahtlemata oli alguse saanud tema tänastest elamustest.* (М. Bulgakov, перевод М. Варик). Дословный “перевод перевода” выглядит следующим образом: *Тогда Никанора Ивановича посетило сновидение, которое/что было вызвано его сегодняшними переживаниями.* В данном случае зависимая часть предложения трансформируется в придаточное определительное.

В свою очередь, предложный падеж ПОМ *который* может заменяться генитивом *mille* в эстонском языке. Напр.: *Теперь регент нацепил себе на нос явно не нужное пенсне, в котором одного стекла вовсе не было, а другое треснуло.* (М. Булгаков) // *Nüüd oli regent endale nina peale säätinud ilmselt tarbetud näpitsprillid, mille üks klaas oli mõrane ja teist polnud olemaski.* (М. Bulgakov, перевод М. Варик). Предлагаемый переводчицей вариант при обратном переводе дает ПСП, выражающее притяжательные отношения — конструкцию, которая является предметом нашего внимания: *Теперь регент нацепил себе на нос явно не нужное пенсне, одно стекло которого треснуло, а другого не было вовсе.* Приведенные расхождения

в переводах подчеркивают сходство присубстантивно-определятельных и притяжательных присубстантивных предложений и в то же время дают основание полагать, что аналогичные случаи требуют специального рассмотрения с целью выявления факторов, влияющих на выбор одного из вариантов переводчиком.

Итак, выбор союзного средства в рассматриваемых нами конструкциях на материале сопоставляемых языков определяется характером референции ПОМ, личностным либо предметным. Это представляется особенно существенным для эстонского языка, в котором ПОМ, относящиеся к лицам и нелицам, всегда дифференцированы в своем выражении. Но в обоих сопоставляемых языках в функции ПОМ всегда выступает **генитив** вопросительного или относительного местоимений.

Отмечая омонимичность функций вопросительных и относительных местоимений, когда они выступают как средство выражения посессивных отношений, необходимо подчеркнуть, что они имеют между собой много общего: функциональный потенциал вопросительных местоимений *котсрый? чей? // kelle? mille?* — предполагает ответы на эти вопросы, потенциально включая в себя значение посессивности. Только контекст и наличие/отсутствие вопросительного знака помогают разграничить вопросительные и притяжательные относительные местоимения.

Как известно, одним из признаков текста является связность. Относительные местоимения отсылают нас к субстантиву (лицу или предмету), выполняя тем самым функцию установления связи (относительной, релятивной, *siduv*), причем относительные местоимения в рамках сложного предложения отсылают нас к предыдущему контексту, т. е. выступают в анафорической функции: *Бог исчез и не дал ответа или же дал такой ответ, который ничего не значит. Он как бы отшутился.* (В. Маканин). *Omapära ja võlu Leonardo maalidele annab erilise tuhmjase vine, läbi mille kõik piltidel kujutati näib paistvat.* (Т. Viirand). Вопросительное же местоимение предполагает дальнейшее развертывание текста, открывая т. н. “пустое место” в коммуникации и выполняя при этом катафо-

рическую функцию: *Чей это портфель? — Это портфель сына // Kelle ranits see on? — See on poja ranits*. Отмеченная функциональная особенность представляется очень существенной для объяснения механизма функционирования относительных и вопросительных местоимений в обоих сопоставляемых языках.

Значимой является и позиция ПОМ в эстонском и русском языках по отношению к субстантиву-посессору: следует отметить, что для русского языка характерна постпозиция ПОМ *которого* и препозиция ПОМ *чей*: *К их числу относятся художники, мастерство которых поражает нас / К их числу относятся художники, чье мастерство поражает нас*. В эстонском же языке все выделенные нами ПОМ находятся в препозиции. Данные наблюдения представляется возможным интерпретировать следующим образом: препозиция акцентирует синтаксическую функцию связующего средства, а постпозиция — референциальное тождество ПОМ и субстантива в главном предложении [Беличова 1988]. Постпозиция *которого* усиливает скорее внутреннюю функцию ПОМ в рамках придаточного, когда на первый план выдвигается посессивное значение родительного падежа, а на второй — анафорическая функция местоимения. Лексемы же *чей, kelle, mille* уже в своей форме содержат указание на то, что посессор является лицом одушевленным, поэтому для этих местоимений более значимым является осуществление анафорической связи. Это наблюдение подтверждает сделанный ранее вывод о том, что для выражения посессивности два таких различных по происхождению и структуре языка, каковыми являются эстонский и русский, сближаются, образуя одну синтаксическую структуру, ПСП, — но для эстонского языка характерна дифференциация личной и предметной соотнесенности ПОМ с субстантивом в главном предложении: при употреблении ПОМ *kelle* (в русском языке — *чей, чья, чье, чьи*) наблюдается личностный характер референции; при использовании *mille* — только предметный, а референция ПОМ *которого/которой/которых* может быть как личностной, так и предметной. Для русского языка наиболее частотным является употребление ПОМ *которого/которой/которых*, стирающего разли-

чия между лицом/не-лицом, за счет чего на первый план выступает анафорическая функция; для эстонского языка наиболее характерны *kelle*, *mille* с однозначной референцией, поэтому на первый план выдвигается посессивная функция, затеняя анафорическую.

На наш взгляд, выделенные особенности сопоставляемых языков связаны, с одной стороны, с конкретностью и однозначностью, присущей многим грамматическим категориям эстонского языка, тяготеющего к агглютинативному типу, — и, с другой стороны, с описательным характером и полифункциональностью многих языковых единиц русского языка как языка флективного типа. К тому же если рассматривать одушевленность/неодушевленность как протокатегорию для родовых систем, то русские ПСП во многих случаях конкретизируют объект посессивных отношений посредством аффиксации, включая в себя указание на родовую принадлежность денотата (*которого*, *-ой*, *-ую* и т.д.), в эстонском же языке отсутствие категории рода компенсируется формальной дифференциацией категории одушевленности/неодушевленности.

ЛИТЕРАТУРА

- Беличова Е. 1988. — Придаточные предложения относительные и посессивность в современных славянских языках // *Язык: система и функционирование*. Москва.
- Крючков С. Е., Максимов Л. Ю. 1969. — *Современный русский язык: Синтаксис сложного предложения*. Москва.
- Лопатин В. В., Милославский И. Г., Шелякин М. А. 1989. — *Современный русский язык*. Москва.
- Русская грамматика. 1980. — Т. 2. Москва.
- Современный русский язык. 1981. — Под ред. В. А. Белошапковой. Москва.
- Esti keele grammatika. 1993. — II k. Süntaks. Tallinn.
- Erelt M. 1996. — *Relative words in Estonian Relative Clauses // Estonian: typological studies I*. Ed. by M. Erelt. Tartu.

EXPRESSING POSSESSIVENESS IN THE RELATIVE
SUBORDINATE CLAUSES IN THE ESTONIAN AND
RUSSIAN LANGUAGES

S u m m a r y

The given article demonstrates that the Estonian and Russian languages use subordinate clauses with the relative pronouns for expressing possessive relations, where essential differences exist between the both compared languages.

Differentiation of personal and object deixis of the relative pronouns is typical for Estonian: using *kelle* (*чей, чья, чьё, чьи* in Russian) we observe personal referentation, *mille* — object referentation only. At the same time deixis of the relative pronouns *которого / которой / которых* may be both personal and object (*ребёнок, чья улыбка / ребёнок, улыбка которого*). Using *который* is more frequent in the Russian language, as this pronoun loses the differences between person / non-person and the anaphoric function dominates. *Kelle, mille* with concrete referentation are typical for the Estonian language and therefore the possessive function prevails.

К ВОПРОСУ О “ДВОЙНОМ СУПРЕССИВЕ”

А. Пихлак

Говоря о залоге, типологи выделяют в числе других т.н. **имперсональный пассив**: эст. *Saarel peetakse lambaid* (буквально ‘На острове держат баранов’). В связи с имперсональным пассивом возникает, однако, известная неувязка, поскольку в некоторых языках непереходные глаголы в имперсональном пассиве не являются исключением, а относятся к прототипическому пассиву, напр., эст. *jalutatakse* (буквально ‘гуляют’).

Эту неувязку снимает введение в систему “актив-пассив” третьего залога — субъектного супрессива. Термин предложен И. Мельчуком для обозначения основного производного залога финского и эстонского языков. Согласно его системе все залоговые, вычеркивающие актанты, предлагается называть супрессивами. В зависимости от того, какой именно синтаксический актант вычеркивается, супрессив может быть “субъектным” (вычеркивается первый актант, например, в т.н. имперсональном пассиве эстонского и финского языков), “прямо-объектным” (вычеркивается второй актант, например в рус. *кушаться, уложиться* ‘уложить свои вещи’, *протоптаться* (на месте на холоде полчаса); “косвенно-объектным”, напр., в рус. *хватиться* (“*хватается за грудки*”). В конкретных языках пассивы и супрессивы могут комбинироваться; тот или иной актант, конвертируемый пассивом, вычеркивается соответствующим супрессивом, т.е. устраняется вообще. И. Мельчук приводит в качестве примера семитские языки, которые не допускают агентивного дополнения при пассиве (т.е. имеет место конверсия дополнения в подлежащее и вычеркивание подлежащего вместо конверсии его в агентивное дополнение). То же можно утверждать по отношению к финскому языку: *Minä näen hänet — Hänet nähdään *minulta*.

Выделение супрессива в качестве отдельного залога подерживается тем фактом, что эстонский и финский супрессивы имеют особые синтетические глагольные формы. Они

носят в эстонской грамматике название *umbisikulised vormid*. Никто, кажется, не удосужился вдуматься, что же скрывается под этим термином, и с легкой руки Й. Аавика был пущен в ход перевод “имперсонал”, бытующий до сих пор. Приставка *umb-*, переведенная как *im-(personaal)*, не означает, однако, отрицание, а нечто намного более сложное: *umb-* — это ‘замкнутый в себе, закрытый, повернутый вовнутрь, без начала и без конца, самодостаточный’. Ср. удачный финский пример, иллюстрирующий значение этой приставки: *Voi sanoa lyhemmin ja puhua umpisuomalaisittain umpipihasta ja elektronien muodostamasta umpikuoresta* ‘Можно выразиться также покороче и говорить самодостаточным финским способом о тупиковом дворе и закрытой оболочке, образуемой электронами’: *umpisuomalaisittain* ‘in an opaque-Finnish way’, ‘самодостаточным, самоисчерпывающимся финским способом’. Использование форм, аналогичных формам на *umb-*, означает специальную тактику коммуникации, на что указывают исследователи “коллизии” между культурами: “Reactive cultures ... indulge in other oriental habits which confuse the westerner. They are, for instance, ‘roundabout’, using impersonal verbs (‘one is leaving’) or the passive voice (‘one of the machines seems to have been tampered with’), either to deflect blame or with the general aim of politeness” [Lewis 1996: 43].

Лучше всего смысл этой приставки выражается эстонским префиксом *laus-* в значении ‘нерасчлененный’, ‘non-articulated’ (*laussoo* ‘непроходимое болото’). Следовательно, *umbkeelne* — ‘лицо, владеющее лишь одним языком, лицо одного “сплошного” языка’, *umbkeelsus* — ‘владение языком, нерасчлененное другими языками’, *umbusk* — ‘доверие, не нашевшее выхода’ (а не просто ‘недоверие’). Если правительству заявляют на русском языке вотум недоверия, то на эстонском заявляют лишь не проявившееся доверие или *umbusaldust* — то же самое, что по-немецки называется *Mißtrauensvotum*. *Umbisikuline* значит, следовательно, ‘охватывающий все лица, не разделяя их на первое, второе и третье лицо’. Ср. фразу из интервью в газете: *Allakirjutanu küsimus kõlas, kuidas uues ametis hakkama saadakse. Saadakse küll, ja erilisi apse pole olnud* ‘Подписавший спросил, как справляются в новой должности.

Справляются, и особых промахов не было’. (Первое *saadakse* исходит от интервьюирующего лица и имплицитно 2.л. мн.ч. — “Справляетесь ли?”; второе *saadakse* имплицитно 1.л. ед.ч. — “Справляюсь”).

В финском отсутствует адекватный термин, соответствующий эстонскому *umbisikuline*, финское *erämaaäristekijäinen* подчеркивает неопределенность, хотя примарным в данной категории является безразличие говорящего по отношению к расчлененности категории лица (М. Шелякин, устное сообщение), сплошная “определенность лица”. Поэтому вместо термина **имперсонал** Ханну Томмола был предложен термин **амбиперсонал**, подчеркивающий амбигуозность лица.

Исследователи типологии залога также вынуждены признать, что имеются языки, в которых кроме базового пассива и т.н. имперсонального пассива фигурирует еще третья конструкция, для которой не придумано названия в типологической системе и которую мы предлагаем назвать **супрессивом состояния** или **двойным супрессивом**, в отличие от **супрессива действия**. В ирландском языке наличествует такая конструкция. Залоговая система этого языка следующая (см. [Keenan 1986: 275–276], который цитирует работу: М. Noonan. Impersonal constructions: some evidence from Irish. Unpublished manuscript. Department of Linguistics, State University of New York, Buffalo, 1978):

базовый пассив: *Bhi se buailte aici* ‘aux he hit (Part) at her’, ‘he was hit by her’ ‘он ударен ею’;

имперсональный пассив (т.е. супрессив действия): *Buaileadh (lei) e* ‘hit (Imps) (with her) him’, ‘there was hitting of him (by her)’; буквально *Его ударено ею — ср. диал. *Корову поддоено*; (без названия, т.е. супрессив состояния): *Bhiothas buaitte (aici)* ‘aux (Imps) hit (Participle) (at her)’, ‘there was being hit (by her)’; буквально *Являются ударено; *ударенось — ср. диал. *Было жененось. С мужем разоиденось было*.

Однако вышеприведенная интерпретация ирландского материала не признается безукоризненной другими исследователями — носителями языка: ирландское *ag* рассматривается чаще как показатель посессивности, чем как показатель агенса, и, следовательно, конструкция *Bhi se buailte aici* соотно-

сится с активной моделью *ta se deanta agam* ‘I have done it’, ‘I have it done’, *Я имею это сделанным — ср. *Bhi T. gafa aige* ‘he held T. captive’, ‘he had seized T.’, ‘Он схватил T.’ (Diarmuid O Se. *The Perfect in Irish*. Неопубликованная рукопись, 1992). Трудно об этом судить — скорее всего прав все-таки Кинан, поскольку его выводы согласуются с теорией.

Вполне вероятно, что на появление супрессива состояния в эстонском оказала определенное влияние необходимость перевода массы литературы с немецкого, где фигурируют бесподлежащие конструкции с *sein* + Partizip II. *Sein* допускает иногда только амбиперсональную трактовку, ср.: *man hat serviert* → *es/jetzt ist serviert* ‘(nüüd) ollakse teenindatud’, буквально *теперь обслужено, *теперь обслуженость (т.е. ‘nüüd on toit laual’, ‘теперь еда на столе’). *War abgeklopft, dann packten die Soldaten ihre Instrumente ein und fuhren... in die Kaserne zurück* (W. Kempowski. *Ein bürgerlicher Roman*. 4 Aufl. Tadelloser & Wolff. München, 1975, S. 24 — цит. по [Leirbukt 1983]) ‘Kui oldi koputamisega katkestatud, siis panid sõdurid pillid kotti ja sõitsid tagasi kasarmutesse’ (супрессив состояния *oldi katkestatud*, буквально *когда было прервано). Перевод при помощи супрессива действия *oli katkestatud*, буквально ‘было прервано’, подразумевает семантический объект *их*, который явно отсутствует в немецком тексте (‘kui neid oli katkestatud’, ‘когда их прервали’). Ниже следует еще один пример этого типа: *Die Generäle haben gesagt, sie können nichts machen, wenn nicht aufgerüstet ist und haben den Krieg abgebrochen...* (B. Brecht. *Flüchtlingsgespräche*. Frankfurt/M., 1961, S. 98 — цит. по [Leirbukt 1983]) ‘Kindralid ütlesid, et nad ei saa midagi teha, kui ei olda uuesti relvastatud, ja lõpetasid sõja’, ‘Генералы заявили, что они не могут ничего делать, если не прошло перевооружение, и прервали войну’. Супрессив действия ‘kui ei ole uuesti relvastatud’ (буквально ‘если не перевооружены’), имплицитный грамматический объект, который подлжит вооружению (т.е., очевидно, “армия”), отсутствующий в немецком варианте, исключается в переводе по тем же соображениям, что указаны выше. О. Лейрбукт приходит к справедливому выводу, что дихотомия динамическое/статическое

в немецком строении пассива (*werden/sein* + Partizip II) обладает фундаментальным характером.

Указанная форма супрессива состояния в литературе по эстонской грамматике не обойдена вниманием. Х. Раянди относит ее к пассивной адъективации: *oldi üllatatud* (*являлись удивлено = диал. *удивленось*), *oldi huvitatud* (*являлись заинтересовано = диал. *заинтересованось*), *oldi rikutud* (*являлись испорчено = диал. *испорченось*), *oldi sunnitud* (*являлись вынуждено = диал. *вынужденось*) — объект трансформируется в невыраженный субъект [Rajandi 1967]; в теории И. Мельчука это конверсия объекта в элиминируемый субъект.

В финском формы с двойной амбиперсональностью считаются ошибкой; например, по-фински нельзя сказать *ollaан seurattu* ‘ollakse jälgitud (kellegi poolt)’ (*являются слежено, диал. *слеженось*), но можно прибавить к этой форме подлежащее в виде местоимения во множественном числе и сказать: *Me ollaан seurattu — Me ollaан seurattu sen jälkiä ylös polkua, rosvoapäällikkö sanoi* (Louis Masterson. Musta sombrero. Winther: 1990, s. 35–36). В финском амбиперсональная форма в таком употреблении полностью переосмыслена и приобрела значение активного залога; предложение означает “Мы прошли по его следам вверх по тропинке”, — сказал главарь шайки разбойников’, а не ‘За нами следили’ (кто-то следил).

Двойная амбиперсональная форма не может в принципе иметь дополнения. Неправильное использование встречается, однако, не так уж редко — даже в финском, где двойной амбиперсонал вообще не может существовать в качестве ортологически корректной формы: финск. *Uhrin taskuista oli löytynyt nukkaa ja pölyä, jota ei oltu voitu määritellä* (правильно: *jota ei ollut voitu määritellä*) ‘В карманах обнаружили ворс и пыль, природу которых не могли определить’; финск. *Siitä lähtien häntä ei oltu nähty* (правильно: *häntä ei ollut nähty* — субъектный супрессив) ‘С тех пор его не видали’; эст. *Teda oldi informeeritud* (правильно: *teda oli informeeritud* — субъектный супрессив) ‘Его проинформировали’; эст. *Sellest eesmärgist ollakse loobutud* (правильно: *on loobutud/ollakse loobunud* — субъектный супрессив) ‘От этой цели отказались’; эст. *Ber-*

liinis poldud sellega toime tulnud (правильно: *poldud toime tulnud/polnud toime tulnud* — субъектный супрессив) ‘В Берлине с этим не справились’.

В эстонском встречается неправильное использование двойного амбиперсонала вместо субъектного супрессива также с непереходными возвратными глаголами: *Sõjaks oldi tõhusalt ette valmistatud* (правильно: *oldi ette valmistunud/oli ette valmistatud*) ‘К войне подготовились серьезно’.

В супрессиве состояния (или в двойном супрессиве, или в супрессиве с двойной амбиперсональностью) могут нормально выступать лишь переходные глаголы, означающие действие, направленное на человека с целью каузировать в нем новое состояние или качество. Если автор не имел в виду показать такое “социативное” (термин М. Шелякина) состояние амбиперсоны, каузированное другой амбиперсоной (например, русское диалектное *выданось замуж* — одно “амбивалентное” лицо выдало замуж другое “амбивалентное” лицо), то использование формы не оправдано. Ввиду сложности форм ошибки встречаются часто, даже в трудах писателей и публицистов.

В предложениях (1–3) фигурирует правильное использование форм супрессива состояния:

1) *Julgen arvata, et sealkandis pole üksi Eesti Vabariigi minevikku endas vähem rikutult kantud, vaid seal ollakse üldse punasest võimust vähem tümaks tehtud.* (V. Raudnask. *Rahva Hääl* nr. 234, 3.10.1992, lk. 1) ‘Осмелюсь сказать, что в том краю не только носили прошлое Эстонской Республики в себе в менее исковерканном виде, но там вообще *были менее пришиблено (или: *пришибленось) красной властью’.

2) *Ka resultaat oli seda väärt: “Lembitu” kandis 8 torpeedot ja 40 meremiini, lisaks sellele oldi varustatud ka 40-millimeetrise “Boforsi” õhutõrjekahuritega.* (M. Titma, juunior. *Päevaleht* nr. 155, 14.07.1993, lk. 7) ‘Результат стоил этого: “Лембиту” нес 8 торпед и 40 морских мин, в дополнение к этому было *снабжено (или: *снабженось) 40-миллиметровыми зенитками “Бофорс”’.

3) *Ja kui me ikka nende meeletute hindadega ostma ei hakka, küllap ollakse siis sunnitud hindu alla laskma.* (Rahva Hääl nr. 240, 17.10.1991, lk. 4) 'И если мы все же не будем покупать по таким бешеным ценам, то *будут вынуждено (или: *вынужденось) снизить цены'.

Как уже было отмечено, значением структуры является "состояние амбиперсоны после воздействия на нее другой амбиперсоны". Авторы следующих предложений (4–7) явно не хотели сознательно выразить это значение, и, следовательно, выбранные формы некорректны:

4) *See oli ilus valgus, kokkuvõte kõigist nendest punastest õhtutriipudest, mida ma tulevikus pidin silmitsema, või nendest, mida maailmaõhtul enne mind oldi silmitsetud* (V. Luik. Seitsmes rahu-kevad. Tallinn, 1985, lk. 13) 'Это был красивый цвет, выжимка из всех тех красных вечерних полос, которые мне в будущем суждено было рассматривать, или тех, которые до меня на закате мира *были наблюденно'. Правильно: *oli silmitsetud/oldi silmitsenud*, поскольку *oldi silmitsetud* означает, что (автора) *было наблюденно (или: *наблюденось). Эта ошибка была отмечена М. Хинтом.

5) *Oma ummuksis olemisega oldi juba lepitud ja pooleldi endid isegi maha kantud.* (M. Lauristin. Noorte Hääl nr. 227, 1.10.1988) 'Со своим тупиковым положением *было уже примирено (или: *примиренось) и наполовину себя *списано (или: *списанось)'. Правильно: *oli lepitud/oldi leppinud; oli end maha kantud/oldi end maha kandnud*.

6) *Sellest eesmärgist ollakse rubla väärtuse jätkuva langemise tingimusi siiski ilmselt loobunud.* (Õhtuleht nr. 35, 11.01.1992, lk. 2) 'От этой цели *являются в условиях продолжающегося падения стоимости рубля очевидно все же *отказано (или: *отказанось)'. Правильно: *on loobunud/ollakse loobunud*.

7) *Tõsiasi, et Berliinis poldud sellega veel toime tulnud, kõneleb linnale osaks saanud purustuste tohutust ulatusest.* (T. Huik. Pikker nr. 21/22, 1992, lk. 28) 'Факт, что в Берлине не было с этим *справленось, говорит об огромных масштабах разрушений, пришедшихся на долю города'. Правильно: *poldud toime tulnud/poldud toime tulnud*.

Как уже сказано, финские “туристы” подчеркивают, что в сложных формах супрессива возможна только одна амбиперсональная форма: *Kaikista varotoimista ollaan huolehdittu* — правильно: *Kaikista varotoimista on huolehdittu*, буквально ‘О всех предупредительных мерах *позабочено’ (неправильно использованная форма интерпретировалась бы эстонцем как *позабоченось — состояние амбиперсоны после того, как другая амбиперсона позаботилась о ней); *Ikkunoita ei oltu vielä suljettu* — правильно: *Ikkunoita ei ollut vielä suljettu*, буквально ‘Окна не было еще *закрывано’ (неправильная форма означает *закрыванось — состояние окна после того, как его закрыли); *Tätä kirjoittelua tunnetaan johdettavan tuolta Etelärannasta päin...* — правильно: *Tätä kirjoittelua tuntuu johdettavan...* ‘Эту стряпню кажется *управляемо с южного берега’ [Räikkälä 1987].

Такое ненормативное использование, однако, глубоко укоренилось в финском языковом сознании — оно не обошло своим влиянием даже Библию: *Vielä minä sain tietää, ettei leeviläisille oltu annettu heidän osuuksiaan, ja niin olivat leeviläiset ja veisaaajat, joiden olisi ollut tehtävä palvelus, vetäytyneet kukin maatilalleen* (Nehemia 13, 10 — Pyhä Raamattu. Turku—Helsinki: Suomen Piipliaseura, 1975) (*ettei oltu annettu pro ettei ollut annettu*). Эстонский перевод этого места — с одной амбиперсональной формой: *Siis ma sain teada, et leviitidele ei olnud antud nende osa ja seepärast olid leviidid ja lauljad, kes pidid teenistust pidama, põgenenud igäüks oma põllule*. В немецком варианте этого текста фигурирует пассив: *Und ich erfuhr, daß der Leviten Teile ihnen nich gegeben waren...* (Die Bibel. Berlin, 1924).

В ряде случаев некорректное употребление вызывает, однако, вопрос, не кроется ли под кажущейся ошибкой прагматическая интенция говорящего подчеркивать адъективацию “лишнего” причастия. Следующий пример взят из Ювяскюляского сборника “Kielikeskustelua” (6/1993, s. 15): *Esitelmöitsijän itsensä mielipiteitähän paikalle ollaan tultu kuuntelemaan* ‘Приходили послушать мнения самих выступающих’ (вместо *ollaan* использовано *ollan*). Нормативно было бы *on tultu*. То

же самое можно сказать о причастной форме вспомогательного глагола в следующих эстонских примерах: *Kui teatakse, et paari kilomeetri kaugusel tagalas elab perekond — lapsed, naised ja raugad, siis ollakse kohustatud võitlema surmani, selleks, et tagalas jäädaks ellu.* (I. Bärenklau, Rahva Hääl 21.05.1994, lk. 3) 'Если знают, что на расстоянии пары километров в тылу живет семья — дети, жены и старики, — являются *вынужденось бороться насмерть, чтобы в тылу выжили бы' (очевидно, что никто не вынуждает — это состояние данного лица вынуждает его бороться насмерть); *Ning reisijad on sellega leppinud imetlusväärse kannatlikkusega — ollakse isegi meelitatud teadmisest, et rongiga sõitmine on kõige odavam* (A. Jürgens, Eesti Sõnumid 17.05.1994, lk. 2) 'И пассажиры с этим примирились с удивительной терпеливостью — являются даже *польщенось знанием, что поездка на поезде дешевле всего' (состояние польщенности от знания дешевизны поездки).

Эти языковые факты приводят к мысли, что в грамматической категории двойной супрессивности вспомогательный глагол в форме супрессива имеет тенденцию адъективироваться, а вся конструкция приобретает значение субъектного супрессива.

ЛИТЕРАТУРА

- Aavik J. 1936. — Eesti õigekeelsuse õpik ja grammatika. Tartu.
- Keenan E. L. 1986. — Passive in the world's languages // Language Typology and Syntactic Description I. Cambridge etc. Pp. 243–281.
- Leirbukt O. 1983. — Zum Konstruktionsstyp "Da war bei uns zugesperrt" // Neuphilologische Mitteilungen, 1, S. 77–86.
- Lewis 1996. — Richard D. Lewis. When Cultures Collide: Managing Successfully across Cultures. London.
- Мельчук И. 1991. — Еще раз к вопросу об эргативной конструкции // ВЯ, № 4, с. 46–88.
- Rajandi H. 1967. — Passiivne *tud*-adjektivatatsioon // Keel ja Kirjandus nr. 5, lk. 286–292.
- Räikkälä A. 1987. — Passiivin kertausta // Kielikello nr. 1, s. 23.

Шелякин М. А. 1991. — О семантике неопределенно-личных предложений // Теория функциональной грамматики: Персональность. Залоговость. Санкт-Петербург.

STATIC VIZ “DOUBLE” SUPPRESSIVE

S u m m a r y

In the category of voice in Estonian the most prominent position is occupied by the suppressive. While passive involves transitive verbs only, the suppressive uses both transitive and intransitive verbs. Hence, the suppressive does not necessarily imply promotion of the object, although the object may be foregrounded: “Kirja kirjutatakse” *There is writing a letter; “Selles jões uputakse tihti” *There is often drowning in this river.

The suppressive may be both dynamic (cf. above examples) and static or “double”. Static suppressive consists of the impersonal (traditionally “impersonal”) form of the auxiliary *olema* ‘be’ and the impersonal participle (*tud*-participle) of the basic verb: *ollakse sunnitud* (*there are having been forced). It can be presumed that static suppressive originated from translations of German subjectless constructions “sein + 2nd participle” expressing a state (the so-called *statisch-ergänzungslos* Subtype of *sein*-Passive). However, *sein* allows also impersonal interpretation; sometimes impersonal interpretation is the only acceptable one: *Es/jetzt ist serviert* “Nüüd ollakse teenindatud” (*Now there are having been served).

Static suppressive always implies plurality of individuals affected. It has been repeatedly noted in essays on Estonian grammar, cf. “*oldi üllatatud* there were having been surprised’, *oldi rikutud* ‘there were having been spoilt’. It has been pointed out that the structure is strongly adjectivized. Suitable for word-for-word translation of constructions containing static suppressive an English pronoun is there, used to introduce a sentence or clause expressing the idea of existence.

ПОНЯТИЕ ТРАНСПОЗИЦИИ, ЕЕ РАЗНОВИДНОСТИ И ФУНКЦИИ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ (КЛЯ, разговорная речь и поэтический язык)

Е. Н. Ремчукова

Морфология последних десятилетий неуклонно и настойчиво движется по пути расширения своего пространства. Несмотря на бесконечные дискуссии о ее границах, она уже давно вышла сначала за пределы словоформы, затем парадигмы, потом минимального контекста, потом предложения, а в последние годы актуальным становится изучение взаимодействия грамматической единицы со средой, которая понимается в свете теории речевых актов не только как расширенный контекст, но и как намерения говорящего, как проблема языковой памяти и интуиции, языковой игры и языкового эксперимента, сознательного и бессознательного в употреблении грамматических средств языка.

Взаимодействие языковой системы со средой в грамматике проявляется и в особых формах контакта грамматической единицы, ее общих и частных значений, с контекстом. В процессе развития языка усиливается асимметрия знака и значения, обогащающая его и новыми смыслами и новыми коннотациями, так как “означающее стремится иметь другие функции, чем его собственная” [Поспелов 1990: 40]. Одна грамматическая форма может употребляться в нетождественных значениях. Это явление называется транспозицией. В системе языка ей противопоставлено явление нейтрализации грамматических значений, которое приводит к омонимии грамматических форм (или, согласно другой точке зрения, к их недифференцированности [Шелякин 1985: 48]), в то время как транспозиция — к их синонимии (если не понимать под синонимией тождество). Благодаря транспозиции расширяются номинативные и экспрессивные возможности грамматики. Вопрос об экспрессивной и эстетической (если говорить о языке худо-

жественной литературы и особенно о поэтическом языке¹) значимости грамматических единиц сегодня уже не является дискуссионным. Но несмотря на то, что все классики русского языкознания (А. А. Шахматов, А. М. Пешковский, А. А. Потебня, В. В. Виноградов) в своих трудах уделяли особое внимание стилистике грамматических форм, выразительные возможности морфологии исследованы и описаны не в полной мере. А эмоционально-экспрессивные ресурсы именно **русской** морфологии с ее ярким синтетизмом, а значит и насыщенностью переносными значениями и полифункциональностью грамматических единиц, чрезвычайно велики.

Сам термин “транспозиция” вызывает определенные затруднения именно потому, что он широко употребителен и в его интерпретации нет единообразия. В широком смысле транспозиция — любой перенос, в основе которого лежит семантическое или функциональное сопоставление единиц (различные типы переносов в лексике, морфологии, синтаксисе). Транспозиция играет важнейшую роль в устройстве и функционировании языка, метафоризируя его. “В напряжении между формой и содержанием заключено творческое начало — рождение новых смыслов” [Ковтунова 1986: 124]. Область морфологии, связанную с различными типами грамматической метафоры, можно было бы назвать “метафорической морфологией”, так как метафора ведет к нарушению грамматической узуальности, особенно ощутимому в некодифицированных подсистемах языка — разговорной и поэтической речи. В этом смысле транспозиция, как уже отмечалось исследователями, является закономерным результатом создания образности [Шендельс 1972: 51]. В работах последних лет она находит свое место в рамках проблемы **интенциональности**, которая по отношению к грамматическим категориям понима-

¹ Известно, что вопрос о терминологии в названиях некодифицированных подсистем языка является дискуссионным (“русская разговорная речь”, “русский разговорный язык”, “поэтический язык”, “поэтическая речь”). Эта проблема остается за пределами данной статьи.

ется как связь семантических функций грамматических форм с намерениями говорящего, как “способность содержания, выражаемого данной формой... быть одним из актуальных элементов речевого смысла” [Бондарко 1994: 29].

В свете этой концепции транспозиция всегда интенциональна, хотя степень метафоризации, связанная с условиями смысловой актуализации грамматического значения, может быть различной. На связь явления транспозиции с говорящим обратила внимание Е. Кржижкова в работе, написанной еще в 1962 году: “Легче всего поддаются транспозиции категории, члены которых внутренне так или иначе связаны с говорящим, средоточием которых является как бы он сам, его оценка реальности или нереальности действий, момент его речи. Это в первую очередь категории лица, времени и наклонения” [Křížkova 1962: 174]. Не случайно при транспозиции временных форм наиболее активно ведет себя форма наст. вр.: ведь это **говорящий** актуализирует событие, это **он** мысленно транспонируется в план прошлого или будущего.

Объект нашего внимания — морфологическая транспозиция (далее МТ). При МТ одна грамматическая форма функционирует вместо другой — ее противочлена в парадигматическом ряду. Например, форма 1 л. мн.ч. может употребляться по отношению ко 2 л. ед.ч. в предложениях типа “Как мы себя чувствуем?” Осуществляется “переход” грамматических значений “друг в друга” (прош. вр. в наст.; ед.ч. во мн.ч.; СВ в НСВ и т.д.). Парадоксально то, что явление МТ до сих пор не описано системно и полно. В работах ведущих грамматистов (как прошлого, так и настоящего) представлены ее отдельные фрагменты. Транспозиции глагольных категорий, категории числа существительных глубоко и тонко проанализированы в книге В. В. Виноградова “Русский язык”. Наиболее яркая глагольная транспозиция — транспозиция времен — детально представлена в книге А. В. Бондарко “Вид и время русского глагола” [Бондарко 1971: 129–176]. Замечания теоретического характера находим у А. В. Исаченко [1960], в работах М. А. Шелякина [1989: 25–26]. Однако указанные описания МТ носят изолированный характер: нет ни одного исследования, в котором все случаи транспозиции

были бы “собраны” в единую картину. Такое обобщенное и полное описание не может быть представлено в одной статье, но обозначим наиболее интересные возможности и перспективы исследования МТ.

Прежде всего МТ необходимо отличать от нейтрализации и конкуренции грамматических единиц. Три этих понятия — явления одного порядка, представляющие собой различные типы “грамматического поведения” словоформ в контексте. Рассматривая системные и несистемные значения морфологических категорий, М. А. Шелякин подчеркивает, что при переносном употреблении грамматических форм их системные значения сохраняются, усложняясь признаками другого значения, в то время как при нейтрализованном употреблении грамматическая форма используется без присущего ей в системе языка значения [Шелякин 1989: 25]. Действительно, при МТ происходит “обогащение” грамматической формы, в то время как при нейтрализации она “теряет свое лицо”. Это, конечно, не ставит нейтрализацию как грамматическое явление ниже транспозиции в лингвистической табели о рангах: у них разные задачи. С одной стороны — создание грамматической образности контекста, с другой — обобщение, абстрагирование.

Конкуренция предполагает такое употребление грамматических форм, когда в рамках контекста возможна замена одной формы на другую, при этом изменяется лишь способ представления, а общее значение контекста сохраняется. Таким образом, при конкуренции различие в употреблении связано с тончайшими оттенками смысла, при транспозиции же оно намеренно грамматически выделено (однако “намеренно” не всегда следует понимать как “сознательно”). Анализ этих грамматических явлений тесным образом связан с сложнейшей теоретической проблемой грамматической синонимии и омонимии, которая представляется нам не до конца решенной, особенно в области конкуренции, нейтрализации и транспозиции видо-временных форм глагола.

Все три типа “грамматического поведения” разнообразно проявляются при функционировании категории числа существительного и категории вида глагола, которые сопоставимы

в плане их сложности и ярко выраженного лексико-грамматического характера. Категория числа: **нейтрализация** — *книга* — лучший подарок, эти босоножки не на мою ногу; **конкуренция** — надо пол (полы) вымыть; **транспозиция** — “мы университетов не кончали”, “все-то мы по театрам ходим” (мн. экспрессивное в разговорной речи). Категория вида: **нейтрализация** — в пословицах и поговорках, афоризмах и предложениях (любых высказываниях, имеющих обобщающий характер или претендующих на него) — по-русски говорят (скажут), скажешь правду — потеряешь друга; **конкуренция** — в знаменитом примере кто строил (построил) Зимний, в котором употребление глагола СВ усиливает общую результативность контекста, выраженную и наличием прямого дополнения Зимний; **транспозиция** — в предложениях типа иногда его приведут — так прямо насмеешься; здесь форма СВ, употребленная вместо НСВ, узуально воспринимается как более категоричная и экспрессивная. Все три типа изоморфны другим уровням языка, в частности фонетическому, где мы находим и нейтрализацию звуков в определенных позициях, и конкуренцию в позициях свободного варьирования, и транспозицию в случаях намеренного переноса (например, фрикативный вместо смычного в слове гусь в предложении Каков гусь! (пример А. А. Реформатского). Продуктивность этих моделей на разных языковых уровнях будет различной. Так, на фонетическом уровне нейтрализация и конкуренция будут иметь более широкий объем, чем реже встречающаяся транспозиция, в то время как на морфологическом уровне наоборот: конкуренция и транспозиция более продуктивны.

Нельзя не признать, что толкование некоторых случаев как транспозиции или конкуренции может показаться спорным, не только в силу субъективных, но и объективных причин, ведь язык — сложнейшая “живая” система, в которой может и не быть четких границ между отдельными участками (не случайно В. В. Виноградов часто употреблял такие слова, как “зыбкость”, “текучесть”). По-разному трактуются и такие “классические” примеры, как ед.ч. в обобщенном значении. А. В. Исаченко пишет: “Вместо обычного *В наших лесах водятся медведи* можно сказать *В наших лесах водится медведь*.”

Здесь форма мн.ч. заменяется формой ед.ч. Обыкновенно утверждают, что в подобных случаях форма ед.ч. приобретает “собирательное значение”. На самом деле здесь имеется не новое значение грамматической формы, а стилистическая фигура (троп) — “синекдоха” или *pars pro toto* [Исаченко 1960: 416]. Соглашаясь с А. В. Исаченко в трактовке именно этого примера², мы хотели бы уточнить, что подобное предложение, помещенное в другую функциональную среду, например, в научный стиль (*Рыба дышит жабрами*) является именно нейтрализацией, за которой стоит обобщающая функция числа и которая не воспринимается как намеренность.

Мы считаем, что транспозиция обладает функцией, которую мы назвали бы функцией **эмоционально-образного выделения**. Не случайно А. В. Исаченко определяет транспозицию как “стилистический прием” [Исаченко 1960: 416], а М. А. Шелякин, определяя типологию функций грамматических форм, называет функцию транспозиции стилистико-прагматической [Шелякин 1985: 39]. Соотношение эмоционального и экспрессивного мы понимаем как соотношение материального и идеального: средства экспрессии зависят от выражаемых эмоций. МТ связана с различными способами оценки говорящим события (т.е. с эмоциональностью, следствием которой является оценочность), с другой стороны, с его стремлением к образному маркированию информации. Оценочность и метафоризация могут совпадать, если это входит в намерения говорящего.

Считается, что эта функция возникает у грамматической единицы в “чужом” контексте. Столкновение грамматической формы и контекста приводит к контрасту между ними, создает стилистический эффект. Это есть и в таких известных случаях, как употребление наст. вр. в плане будущего — *praesens propheticum* (*Завтра я уезжаю в Киев*) или формы прош. вр. в значении абстрактного настоящего (*Так часто бывает* —

² См. аналогичные примеры (характерные для жанра очерка о природе): *Залиц готов зимовать. Однако он спешит одеться* (В. Песков).

увидел и влюбился). Обычно МТ рассматривают именно как **контекстуально обусловленный** перенос, однако мы полагаем, что контекстно связанная транспозиция является основным, но не единственным типом. Так, ниже будут рассмотрены нетрадиционные случаи грамматического переноса, среди которых транспозиция рода существительных в поэтической речи представляет собой такой тип, при котором противоречие между формой и контекстом может быть и не выражено и стилистический сдвиг происходит вне конкретного предложения, на уровне системы в целом.

Лишая транспозицию функции эмоционально-образного выделения, мы лишаемся и критерия ее определения. Поэтому мы не можем согласиться с А. В. Бондарко, который считает, что "...образность, эмоциональность и экспрессивность — типичный, характерный, но не обязательный признак переносного употребления времен" [Бондарко 1971: 174]. Одним из примеров такого "безэкспрессивного" употребления является наст. историческое, "которое может быть использовано в авторской речи лишь как один из возможных временных планов повествования, не отличающийся особой живостью и образностью" (там же). Дискуссия о настоящем историческом имеет давнюю историю, но что касается отсутствия экспрессивности, то можно скорее говорить о "стертой" образности, ведь транспозиция — грамматическая метафора, и, как любая метафора, она способна утрачивать свежесть. Это происходит прежде всего в тех случаях, когда транспозиция становится привычным приемом, отшлифованным долгим употреблением, корни которого уходят в глубь веков. Таким механизмом и является наст. историческое, известное всем европейским языкам.

Экспрессивные оттенки МТ разного типа представляют, с нашей точки зрения, своеобразную шкалу, на которой можно увидеть и экспрессивность "стертую", близкую к нулю (эти случаи будут пограничны нейтрализации), и транспозицию с ярко выраженной стилистической окраской, которая сопровождает все окказиональные, нетрадиционные случаи грамматического переноса. Таким образом, транспозиция является своеобразным функциональным сдвигом, при котором пер-

вичное значение может ослабевать (но не исчезать). Это “ослабление” компенсируется эмоциональным компонентом, имеющим оценочный характер. Данная функция МТ, естественно, наиболее ярко проявляется в некодифицированных подсистемах языка — поэтической и разговорной речи, общей чертой которых можно назвать смелость в использовании языковых средств.

Соотношение поэтической и разговорной речи представляет особую проблему, которая еще не освещена в полной мере в научной литературе. Как правило, исследователи обращают внимание скорее на различие между ними, чем на сходство.³ “Определенные средства языка употребляются преимущественно или исключительно в этих двух типах речи. Но семантика и функции таких средств оказываются в поэтической и разговорной речи различными” [Ковтунова 1986: 188]. Исследуя синтаксис поэтической и разговорной речи, Е. Н. Ширяев квалифицирует совпадение как парадокс, ведь, по его мнению, сближаются противоположности: язык, требующий “тщательнейшей художественной обработки”, и спонтанная разговорная речь [Ширяев 1983: 35]. Объясняя этот парадокс, И. И. Ковтунова отмечает, что “коммуникативные признаки, общие для поэтической и разговорной речи, приводят к употреблению одинаковых конструкций и к некоторым сходным принципам построения речи” [Ковтунова, 1986: 191]. Таким образом, исследователи синтаксиса поэтической речи видят ее общность с разговорной в сходных чертах коммуникации (установке на внутреннюю речь, спонтанности и непринужденности), но ведь сходство этих подсистем проявляется и в большей эмоциональности, а это определяет и более широкие возможности транспозиций разного рода. В некодифицированных подсистемах нарушение симметрии между формой и ее первичной функцией более явное.

³ Необходимо сразу отметить, что мы различаем разговорную речь как стилистическое средство в языке художественной литературы и разговорную речь как живой язык повседневного общения с присущими ему системными закономерностями.

Мы выделяем традиционные и нетрадиционные зоны транспозиции. Первые присущи языку в целом. Проявляясь и в кодификации и в системах с более широким варьированием, они обладают системной устойчивостью. Таких зон мы насчитываем пять: **именные** — число существительных; **глагольные** — вид, время, наклонение, лицо глагола. Традиционная транспозиция в некодифицированных системах может наполняться более разнообразным содержанием.

Так, в разговорной речи формы числа существительного используются безразлично к реальному количеству предметов, обозначенных этими существительными, и нередко способны к взаимозамене, обусловленной ситуативно, коммуникативно, экспрессивно-стилистически [Захарова 1984: 8]. Функционирование мн.ч. в значении ед.ч., сопровождающееся модальностью оценки, является яркой чертой разговорной речи: *Смотри, они уже на велосипедах катаются! Вы все по **театрам** ходите, а мы должны дома сидеть!* (об одном лице). Таким образом, транспозиция числа является одной из форм проявления экспрессивных возможностей этой категории в РР.

В условиях поэтического текста формы числа получают такое смысловое наполнение, которое также не укладывается в обычную схему грамматической семантики числа. Выбор формы числа определяется здесь прежде всего задачей художественной образности. Известно, что функционирование форм мн.ч. в поэзии отличается многообразием семантических оттенков. Среди них выделяется значение расчлененности, особенно ярко проявляющееся у форм мн.ч. абстрактных существительных *singularia tantum*. В языке поэзии такие формы образуются регулярно: заложенная в них потенциальная возможность изменяться по числу реализуется именно в поэтическом языке, и мн.ч. образуется свободно. Учитывая это, мы считаем неправильным по отношению к таким формам термин “нарушенное число” [Ломовцева 1976: 71]. Данная особенность не является, с нашей точки зрения, МТ. К ней относятся только те, достаточно редкие случаи, когда форма мн.ч. не информативна, а лишь экспрессивна, и число, действительно, “нарушено”. Сравним две формы мн.числа в стихотворении С. Есенина: *И пускай со звонами плачут глухари, есть тоска*

веселая в алостях зари. Первое существительное относится к группе “звук”, и форма мн.ч. передает оттенки звучания, вторая форма образована от существительного со значением цвета, но не обозначает его оттенки, скорее ассоциативна (по аналогии с первой) и призвана будить читательское воображение. См. в художественной речи (стилизация разговорной): *Мерзавцев — тьмы; Ты не привыкай кисели разводить* (М. Горький). И наоборот, ед.ч. вместо мн.ч. *Я читать не в силе; Народ начал пошевеливать мозгой*. Подобные случаи отмечал еще А. А. Потебня, называя такое множественное “множественное гиперболическое”: *И взбегала она на чердаки..., бросалась с чердака во свои высокие терема; У них тут пошли чаи, кофеи* [Потебня 1888: 9–10].

Подобный перенос не является привилегией русского языка: аналогичные факты отмечаются при исследовании стилистического потенциала грамматических форм и в других языках; так, в английском языке во фразеологизированной конструкции *But where are the shows of yester-years*⁴ ‘Но где теперь прошлогодний снег’ форма мн.ч. не имеет значения ‘большого пространства, покрытого снегом’ (хотя оно возможно) и может быть охарактеризована как мн. экспрессивное.

Указанные типы “грамматического поведения” разнообразно и активно проявляются при функционировании глагольных форм, стилистические возможности которых в русском языке неисчерпаемы. Необходимо учитывать тесную “спаянность” глагольных категорий: при транспозиции глагольных форм четко выступает “глагольный комплекс”: вид + время + модальность, транспонируется не просто форма времени, а видо-временная форма, переносное употребление которой сопровождается модальными значениями гипотетичности, условности, негативности, уверенности, сопричастности и другими. Бедность системы русских наклонений вполне компенсируется богатством модальных оттенков, возникающих при функционировании видо-временных форм. Исследования раз-

⁴ Пример И. В. Арнольд [1982]

говорной речи подтверждают, что именно в ней “сформировались разнообразные способы выражения значений, присущих формам наклонений, формами не-наклонений” [Русская 1983: 126]. Это наблюдение можно отнести и к поэтической речи. Следует, однако, сказать, что и схема собственно наклонений оказывается в некодификации более разнообразно наполненной и экспрессивно насыщенной. Есть специфические виды транспозиции наклонений, обогащенные особыми коннотациями значений именно в поэтическом языке. Ослабление прямого побудительного значения наблюдается и в разговорной речи. Употребление повелительной формы в переносном значении приводит к появлению новых модальных оттенков, а, следовательно, и к семантическим сдвигам в значении императива. Форма повелительного наклонения может быть употреблена в значении неограниченной возможности совершения действия. В поэтической речи это значение способно осложняться событийным — рассказом о том, что неоднократно происходило в прошлом: *Фронт. Война. А тут иное: Выводи коней в ночное, Торопись на пятачок, Отпляшишь, а там сторонкой Удаляйся в березняк...* [см.: Ковтунова 1986: 122]. Аналогичное значение отмечается и в разговорной речи: *Там есть хороший пляж: лежи, загорай, купайся* [там же]. Асимметрия между повелительной формой с ее первичным значением побуждения и событийным смыслом в поэтическом языке усиливается в силу целого ряда причин. Форма императива уже не выражает побуждения к действию, а сообщает о факте и, что особенно важно, это сообщение “соединяется с его эмоционально-волевой оценкой” [там же]. Анализ модальных значений видов в разговорной речи представлен в уже упоминавшейся монографии, соответствующая глава которой написана М. Я. Гловинской [Русская 1983: 126–135]. Отметим в этом описании некоторые случаи транспозиции. Если мы, вслед за М. Я. Гловинской, выделяем не только узуальное несовершенное, но и “узуальное значение совершенного вида”, которое может быть выражено как формой буд., так и формой прош. времени (ср. *Он всегда так: пришел, сел, поел; Он всегда так: приходит, садится, ест...; Он всегда так: придет, сядет, поест...*), то мы счи-

таем транспонированной, во-первых, форму СВ, во-вторых, форму буд. вр. и форму прош. вр. Таким образом, в случаях, когда узуальность выражена формой СВ буд. вр. (или прош. вр.), мы квалифицируем ее как “двойную транспозицию”. По сравнению с формой прош. вр. форма буд. вр. имеет модальный компонент уверенности, категоричности: говорящий уверен в том, что действие будет осуществляться и впредь, т.е. подобные конструкции имеют компонент оценочности — говорящий выражает свое отношение к сообщаемой информации, и это отношение, как правило, негативное: *Вечно он все испортит; По воскресеньям ты ведь как: к одним забежишь, к другим, а она с ребенком сиди (сиди — транспонированная форма императива).*

С другой стороны, НСВ узуальный обозначает “происходящее в действительности частое (постоянное) действие, а СВ — действие, которое, по мнению говорящего (выделено мной — Е. Р.), может происходить и (или) действительно происходит” [там же: 123]. Можно сказать, что в формах НСВ преобладает значение фактичности, а в транспонированных формах СВ — оценочности, так как в них выражено эмоциональное состояние говорящего. Конечно, модальные значения выражены не только глагольной формой и должны быть проанализированы с точки зрения прагматики, интонационных особенностей предложения, коммуникативного синтаксиса.

В художественном тексте транспонированная форма, регулярно повторяясь, может стать действенным стилистическим приемом, выражающим именно оценку автором события или лица. Так, например, в воспоминаниях Н. Ильиной о А. А. Реформатском автор, рассказывая о покойном муже, о своих сложных отношениях с ним, часто использует вместо ед.ч. множественное: *Мне говорили с напускной кротостью...; Меня нередко упрекали в западничестве...; Мне отвечали: “Тебе бы только выбрасывать!”* Этот случай распространен и в современной разговорной речи (ср. “Елена Ивановна, Коля встал?” — “Они еще не вставали, они еще спать изволят”). Это ироническое переосмысление транспозиции, широко представленной в языке прошлого века для выражения почти-

тельности (обычно в речи прислуги, подчиненных и т.п.). Так, в романе “Анна Каренина” Аннушка, горничная Анны, говорит Долли: *Я с Анной Аркадьевной выросла, они мне дорожке всего...* В воспоминаниях Н. Ильиной такое употребление формы подчеркивает уважительно-ироническое отношение автора к некоторым привычкам мужа. Транспозиция языковой единицы порождает стилистические эффекты, которые служат основой определенных стилистических приемов. Повторяясь и типизируясь, они закрепляются литературной традицией.

В некоторых случаях транспозиция грамматической формы может создавать ощущение “неправильности”— интенциональность проявляется в этом случае особенно ярко: *Как ни мучительна была вся внутренняя работа прошедшей бессонной ночи, теперь началась еще мучительнейшая* (Л. Толстой. “Война и мир”). Превосходная степень прилагательного “поставлена” в синтаксические условия сравнительной: противоречие формы и контекста приводит к рождению “гибрида” — формы, сохраняющей в себе признаки и сравнительной, и превосходной степени.

Среди нетрадиционных зон транспозиции обратим внимание прежде всего на случаи намеренного употребления одной формы рода вместо другой. Этот вид переноса обладает рядом характерных особенностей. Изменение родовой отнесенности существительного в поэтическом тексте может быть произвольным, не объяснимым с точки зрения современного русского языка. Так например, наблюдается явная тенденция к употреблению в форме муж. рода слова *облако* (*облак*). Морфологическую судьбу этого слова в поэзии прослеживает А. М. Ионова [Ионова 1988: 67–68]. Такой вариант слова был распространен в поэзии XIX века (Державин, Жуковский, Лермонтов, Тютчев), такое же употребление характерно для Есенина (*Облак, как мышь, подбежал и взмахнул...*). Форма муж. рода этого слова зафиксирована в словаре В. Даля, она была употребительна в некоторых диалектах. Следовательно, мотивировка существует. У современных поэтов (*Облак над консерваторией золотым пронзен лучом...* А. Вознесенский) такое употребление намеренно и является грамматической “реставрацией” формы. Такой вид МТ не обусловлен кон-

текстуально: вербальный контекст не вступает в противоречие с формой (согласование происходит по мужскому роду) и ее своеобразие ощущается только на уровне системы языка (ср. *На блюде ледяной лежу*, А. Вознесенский). Род существительных — категория с ярко выраженным семантическим характером, одновременно достаточно жестко формально организованная. В отличие от категории числа, функционально-стилистические возможности этой категории менее разнообразны: строгое распределение существительных по грамматическим родам ограничивает возможность варьирования, а в выразительных целях язык использует прежде всего те грамматические средства, которые в потенциале максимально вариативны. Но именно указанные ограничения “обеспечивают” транспонированной родовой форме особую яркость и выразительность. В поэтическом языке это может быть подчинено эстетической задаче. Например, вместо привычного образа женщины, грустной, задумчивой, нежной, с которым обычно ассоциируется в поэзии осень как время года, А. Вознесенский использует мужской образ (*Доктор Осень глядел на меня золотистыми глазами*). Транспозиция в данном случае связана с приемом олицетворения, при котором изменение родовой принадлежности встречается достаточно редко, ведь обычно в таких случаях, наоборот, “обыгрывается” закрепленный в языковом сознании род (березка, рябина — девушка; дуб, клен — мужчина и т.д.). Но транспозиция формы рода в поэтическом тексте, вызванная приемом олицетворения, может быть и контекстной. Обратимся к стихотворению А. Пушкина “К морю”. Слово *море* ср. рода, *стихия* — женского (*Прощай, свободная стихия!*), однако в формах прош. вр. глагола согласование происходит по муж. роду (*Но ты взыграл...; Ты ждал, ты звал...*), в формах кратких прилагательных — тоже (*Как ты, могуш, глубок и мрачен...*).

В современной разговорной речи транспозиция рода настолько заметна, что можно говорить о тенденции. Во-первых, по отношению к лицам женского пола применяются формы муж. рода (мать дочери: *Ты мой хороший, мой маленький!*). Интересно, что в качестве прозвищ (как правило, ласковых) для женщины выбирается существительное муж. рода и со-

гласование происходит именно с этой формой: *Заяц (Кролик, Пух, Пятачок) звонил?* Исследователи разговорной речи отмечают экспрессивность таких форм и называют их “мужской экспрессивный” [Русская 1983: 137]. Но в разговорной речи есть и другое явление, которое не нашло отражения в данной монографии, — немотивированное изменение родовой принадлежности слова (необязательно в сторону муж. рода): *На чем ты сидишь? Под тобой какое-то странное стуло; Как твой собак поживает?* (форма *собак* встречается часто); *Дай детективу почитать! Хочешь такую зверю?* Мы считаем такую транспозицию проявлением языковой игры: говорящий “играет” с грамматической формой, намеренно переводит ее в другой род. Здесь можно обнаружить и скрытые мотивировки: “плохой” стул переводится в средний род; *собак*, очевидно, “мужчина”, а *зверь* — игрушка, к тому же мягкая, поэтому *зверя*. Таким образом, выразительные возможности категории рода связаны с ее семантической базой: сохранившиеся связи грамматических значений с лексическими или обыгрываются, или нарушаются — и в том, и в другом случае возникает стилистический эффект.⁵ Как нетрадиционную, свойственную только поэтической речи транспозицию можно рассматривать и звательную форму, употребленную в позиции современного именительного падежа. Обычно она используется в языке поэзии как морфологический архаизм. Такие примеры приводит А. М. Ионова [Ионова 1988: 120–121]: *Божий праведник мой прекрасный, свете тихий моей души!* (М. Цветаева). Здесь мы также наблюдаем реставрацию древней формы (как в случае с *облак*) в целях стилизации. Если звательная форма употребляется в нехарактерной синтаксической функции подлежащего, т.е. в позиции именительного падежа, это транспозиция: *Только верю твердо: жил такой чудак, замечательный, в общем, человеке...* (Р. Рождественский). Такое употребление можно критиковать [Ионова 1988: 122], но мотивировка его понятна: придать слову большую экспрессию, выделить его в речевом потоке.

⁵ Ср. также широко известное *Киев — мать городов русских*.

Широко распространена в классической и современной поэзии и транспозиция категории одушевленности, которая осуществляется как транспозиция род. п. неодушевленных существительных в вин. падеж: *Не время выкликать теней* (Ф. Тютчев), что “заставляет” читателя воспринимать их как одушевленные. Морфологическая одушевленность в современном русском языке слов типа *кукла* является, с нашей точки зрения, результатом такой генетической транспозиции. Подобное употребление встречается и в разговорной речи: *Почитайте Рынка, отца своего, и Демократию — мать свою* (Телепередача “Куклы”, 25 марта 1995). Транспозицию одушевленности можно рассматривать как разновидность транспозиции падежа, так как одна падежная форма (род. п.) транспонируется в другую (вин. п.). Из всех категорий существительного категория падежа наиболее синтаксична, так как падежные формы жестко обусловлены строем предложения, поэтому возможности их вариативности ограничены по сравнению с формами числа и рода. Однако известно, что в разговорной речи наблюдается “экспансия номинатива”. Многочисленные исследования подтверждают, что роль косвенных падежей в разговорной речи ослаблена, и это способствует употребительности форм им. падежа и его полифункциональности. Но, безусловно, употребление форм им. п. в значении других падежных форм далеко не всегда является транспозицией, которую мы находим в случаях типа *“Дай чай!” — “Отстань! У меня нет чай”*. Здесь грамматическая форма обыгрывается говорящим так же, как при транспозиции рода в разговорной речи.

В сфере глагола такой активной в разговорной речи формой стал инфинитив. Он широко употребляется в функции личных форм и в поэзии. В “классическом” примере *А царица хохотать и плечами пожимать* мы видим не просто “приступ к действию”, а именно транспозицию инфинитива — употребление его в значении личной формы. Для неканонических текстов (как разговорных, так и поэтических) характерна такая особенность, как употребление полупредикативных форм в значении предикативных и наоборот, так как в них нет четкой противопоставленности предикативности и полупреди-

кативности. Таким образом, языковое сознание как бы восстанавливает древний синкретизм глагольных форм⁶: *Иметь (имея) такую дачу (и) ездить на юг смешно; Дай-ка мне сумочку, я здесь оставила (оставленную мной). Ребенок две недели некупанный.*

О древнем синкретизме именных форм свидетельствуют и многочисленные случаи образования степеней сравнения от существительных, которые широко распространены в разговорной и в поэтической речи. Еще А. А. Потебня указывал на формы типа *снежнее*. Ср. в разговорной речи: *Она ведьма, а эта еще ведьмее; Я думала он более оратор; Чертее черта.* Такую же форму находим у В. Хлебникова: *Небее неба славянская девушка.* Говоря о транспозиции, мы обычно имеем в виду грамматический перенос в рамках одной части речи, но, возможно, здесь мы видим транспозицию грамматической категории одной части речи в другую, в данном случае — категории степени сравнения в имя существительное.

Намеченные нами зоны грамматического переноса нуждаются в детальном описании. Поставленная проблема связана с функционально-стилистической характеристикой средств языка. Она, естественно, не может быть решена только усилиями морфологии, так как грамматические формы функционируют в различных условиях речевого общения. Поэтому только изучение прагматических функций грамматических категорий может выявить все модальные оттенки в значениях грамматических форм, которые неразрывно связаны с эмоциональной сферой личности.

Изучение стилистических ресурсов некодифицированных систем позволяет увидеть их сходство в реализации эмоциональной функции языка, а также его предшествующее и будущее состояние.

ЛИТЕРАТУРА

Арнольд И. В. 1981. — Стилистика современного английского языка. Ленинград.

⁶ Эта идея принадлежит Л. В. Зубовой [1995].

- Бондарко А. В. 1971. — Вид и время русского глагола (Значение и употребление). Москва.
- Бондарко А. В. 1994. — К проблеме интенциональности в грамматике. — ВЯ, № 2.
- Захарова Е. П. 1984. — Род и число в разговорной речи (Значимость служебных морфем). Автореф. дис... канд. филол. наук. Саратов.
- Зубова Л. В. 1995. — Доклад на XXIV межвузовской научно-методической конференции (13–17 марта 1995 г.). С.-Петербург.
- Ионова А. М. 1988. — Морфология поэтической речи. Кишинев.
- Исаченко А. В. 1960. — Грамматический строй русского языка в сопоставлении с словацким. Морфология. Часть II. Братислава.
- Ковтунова И. И. 1986. — Поэтический синтаксис. Москва.
- Кржижкова Н. 1966. — Первичные и вторичные функции и т.н. транспозиция форм. "Travaux linguistiques de Prague", 2. Prague.
- Ломовцева А. А. 1976. — "Нарушенное" число как явление семантико-стилистического плана // Вопросы семантики, вып. 2. Ленинград.
- Поспелов Н. С. 1990. — Мысли о русской грамматике. Москва.
- Потебня А. А. 1888. — Значение множественного числа в русском языке. Воронеж.
- Русская 1983 — Русская разговорная речь: Фонетика. Морфология. Лексика. Жест. Москва.
- Шелякин М. А. 1989. — Морфология современного русского языка (Введение в морфологию. Имя существительное. Имя числительное). Тарту.
- Шелякин М. А. 1985. — О единстве функционального и системного описания грамматических форм в функциональной грамматике // Проблемы функциональной грамматики. Москва.
- Шендельс Е. И. 1962. — Транспозиция морфологических форм // Иностранные языки в высшей школе. Вып. 3.
- Ширяев Е. Н. 1983. — Бессоюзное сложное предложение в современном русском языке. Автореф. дис... д-ра филол. наук. Москва.
- Храковский В. С. 1996. — Сколько деепричастий в русском языке // Тезисы докладов международной юбилейной сессии, посвященной 100-летию академика В. В. Виноградова. Москва.

THE NOTION OF TRANSPOSITION,
ITS VARIETIES AND FUNCTIONS IN MODERN RUSSIAN

S u m m a r y

This article is a systematic description of the phenomenon of the morphological transposition. The work is aimed at defining of its status, function, zones and gives its typological characteristics. M.T. is under consideration equally with other types of grammar variations. Regularities in functioning of grammar forms in figurativ meaning are analyzed on the materials of codyfied , colloquial and poetical speech. The metaphoric nature of the transposition is substantiated in the article. Pragmatic potential of the transposition is under consideration.

О СУПРЕССИВЕ И ОБ АМБИПЕРСОНАЛЕ

Х. Томмола

1. Вступительные замечания

Внимание автора в этой статье сосредоточено на некоторых вопросах тесно связанных между собой функциональных категорий персональности и залоговости [Теория 1991]. Попытка типологической характеристики способов выражения неопределенноличности и обобщенноличности в ряде европейских языков предпринята в другой статье [Томмола в печати]. Как в ней, так и в настоящей работе продолжается разработка предложенной теории о различении синтаксической процедуры супрессивизации, в отличие от пассивизации, не зависящей от залогового значения употребляемых глагольных форм [Tomtola 1993]. Примерами супрессивных конструкций, пользующихся формами действительного залога, служат как особые амбиперсональные формы, так и личные формы, систематически употребляемые в неопределенно-личном и обобщенно-личном референциальном значении или без субъектного подлежащего, или с личным субъектным местоимением. К супрессивным синтаксическим конструкциям можно отнести также страдательные конструкции без субъектного дополнения.

2. Сопоставительные русско-финские заметки

Несмотря на то, что категория залога в русском языке относительно сложна, в частности, для финского учащегося, на некотором уровне повседневного общения системы данных неродственных языков удивительно сходны. Несоответствия встречаются, прежде всего, на стилистическом уровне. Это не значит, что проблем при этом возникает меньше. Наоборот, если подумать, например, о работе и обучении переводчиков, то именно стилистически правильный перевод только и есть пра-

вильный перевод¹. Здесь же мы остановимся на теоретических вопросах описания первичной разновидности языка — речи. Посмотрим на одинаковые по своей структуре (особенно в отношении оформления финитного глагола) предложения:

- | | |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| (1) Там поют. | Нулевое подлежащее + 3 л.мн.ч. |
| (2) Siellä lauletaan. | Нулевое подлежащее + особая
неопред.-личная форма |
| (3) Здесь чувствуешь себя
таким одиноким. | Нул. подл. + 2 л.ед.ч. |
| (4) Täällä tuntee olevansa
niin yksin. | Нул. подл. + 3 л.ед.ч. |
| (5) Статья написана
известным журналистом. | Нулевая связка +
страд.прич.прош.вр. |
| (6) Juttu on tunnetun
lehtimiehen kirjoittama. | Связка-наст.вр. + страд.прич. |
| (7) Рукопись написана в
XVI веке. | Нулевая связка +
страд.прич.прош.вр. |
| (8) Käsikirjoitus on kirjoitettu
1500-luvulla. | Связка-наст. вр. +
страд. прич. прош. вр. |

Приведенные одноструктурные русские и финские предложения совпадают и по смыслу. Следующие же примеры совпадают (хотя и не полностью) по своей структуре, но имеют разные значения:

- | | |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| (9) Рукопись была
написана в XVI веке. | Связка-прош. вр. +
страд. прич. прош. вр. |
| (10) Käsikirjoitus oli
kirjoitettu 1500-luvulla. | Связка-прош. вр. +
страд. прич. прош. вр. |

¹ Поэтому немаловажно, что кроме принципиально беспроблемных соответствий типа: а) *Asiakirjat laaditaan kansliassa* — Документы составляют в канцелярии и б) *Asiakirjat allekirjoittaa presidentti* — Документы подписывает президент в русском языке существуют функциональные регистровые варианты: а) *Документы составляются в канцелярии* и б) *Документы подписываются президентом*.

Примеры (9) и (10) могут быть эквивалентными. Вероятнее, однако, что (9) по смыслу соответствует финскому простому прошедшему времени. Иными словами, в обоих языках конструкция со связочным глаголом и причастием прошедшего времени подвергалась семантической реинтерпретации, но эволюция значения “бытийной результативной конструкции” была в финском и русском языках неодинакова. Не вдаваясь в подробности, отметим, что в финском языке из результатава возник перфект, тогда как в русском языке — после подобного развития — перфектное значение уже утрачено, а бытийный глагол-связка перешел в новую функцию форманта акционального пассива. Таким образом, эволюция пассива из статальных конструкций результативного значения тесно связана с развитием видо-временных систем. В финском языке до сих пор почти не встречается случаев возникновения акционального пассива².

3. Прибалтийско-финский морфологический амбиперсонал

Неопределенно-личные формы глагола, составляющие полную парадигму в финском языке, традиционно трактовали как формы “пассива”. В то же время неоднократно обращали внимание на неканоничность финского “пассива” (его характеризовали особым, “имперсональным” случаем пассива). В последнее время не только название “пассив”, но и “имперсонал” все чаще вызывало недовольство исследователей, так как речь идет именно о **личной** форме, хотя она и оставляет идентификацию личности деятеля или носителя признака неуточненной. При этом неопределенность личности может на прагматическом уровне быть условной. Между тем семантика нулевого субъекта достаточно четко разграничена и, в принципе, совпадает со сферой употребления русской формы 2. л. ед. ч. в функции неопределенноличности. Ср. невозможность пред-

² К эстонскому пассиву следует относиться менее категорично, см. работы Pihlak [1993] и Tommola [1993].

ставления метеорологических (или других природных) явлений как “(амби)персональных”:

- (11) а. Финский **Siellä* *sad-etaan.*
там дождить-АМВІР
б. Русский **На улице дождят / поливают.*
при возможных:

- (12) а. Финский *Ove-en* *korut-etaan.*
дверь-ІІІ стучать-АМВІР
б. Русский (*В дверь*) *Стучат.* [ср. Шелякин 1991: 66]

В случае неопределенноличности предложенный мною термин **амбиперсонал(ьность)** мотивируется **амбивалентностью** (неизвестностью, неважностью уточнения) субъекта, а в случае обобщенноличности — амбивалентностью между личным восприятием субъекта и предполагаемым сознанием других субъектов, на которых говорящий субъект распространяет свое восприятие³.

4. У истоков пассивных конструкций: результатив

Так называемый “имперсональный пассив”, выступающий в (13) и (14) во всех примерах, кроме финского (14б) и польского (14г), встречается здесь в вариантах, которые включают причастие прошедшего времени с финитной формой глагола-связки ‘быть’ (13а, б, в, г) или ‘остаться/стать’ (14а и в).

- (13) ‘Наш город **(был)** основан в 1550 году.’
а. Испанский *Nuestra ciudad fue fundada en 1550.*
б. Исландский *Borgin okkar var stofnuð 1550.*
в. Нижнелужицкий *Našo město jo se zalożyło w l. 1550.*
г. Эстонский *Meie linn on asutatud 1550. aastal.*
- (14) ‘В том году **был основан** наш город’.
а. Норвежский *Det året ble byen vår grunnlagt.*

³ Ср. “несущественность обозначения субъекта” у Шелякина [1991: 70].

- б. Финский *Sinä vuonna perustettiin meidän kaupunkimme.*
- в. Голландский *In dat jaar werd onze stad gesticht.*
- г. Польский *W tym roku założono nasze miasto.*

Роль разных конструкций в выражении коммуникативной (тема-рематической) разницы между (13) и (14) во многих языках затемнена. Сообщаемая в (13) ситуация противопоставляется нарративной динамичности в (14) некоторой своей статальностью, которая ассоциируется часто со значением актуальной значимости прошедшего события. В чистом виде различие статальной и акциональной страдательных конструкций видно в примерах (13') и (14') из западнофризского языка:

- (13') *Us stêd is yn 1550 stifte.* 'Наш город **основан** в 1550 году.'
- (14') *Yn dat jier waard ús stêd stifte.* 'В том году **был основан** наш город.'

В статальном пассиве и прибалтийско-финские языки (см. эстонский пример 13г) структурно совпадают с моделью "пассивных языков"⁴, тогда как акционального варианта в них нет. Вместо страдательной конструкции употребляется особая неопределенно-личная (активная) форма (см. 14б). Пример нижнелужицкого языка иллюстрирует другую стратегию оформления пассивных и супрессивных конструкций, а именно показатель возвратности (13в).

Финское предложение (13'') с причастием прош. вр., видимо, не отличается от страдательных конструкций ряда других языков, содержащих формы причастия прош. вр. страдательного залога:

- (13'') 'Наш город основан в 1550 году'.
- а. Финский *Kaupunkimme on perustettu vuonna 1550.*
- б. Голландский *Onze stad is in 1550 gesticht.*

⁴ Если имеем дело с переходным глаголом, прямое дополнение которого стоит в номинативе и может рассматриваться как занимающее позицию субъекта.

Голландская конструкция (13''б) кажется тождественной финской (13''а). В структурном отношении имеется, однако, коренное различие между причастиями прош. вр. финского (и русского), с одной стороны, и голландского языка — с другой. В голландском, как и в других германских языках, нет “активного” причастия. Так, одна и та же форма *gesticht* выступает и в активном перфекте (*heeft gesticht*), и в формах (статального и акционального) пассива (*is/werd gesticht*). В финском же языке дело обстоит по-другому. В примере (14'), когда контекст другой, и речь идет не о перфекте, а скорее о нарративном прошедшем, расхождение между системами залога очевидно. В (14'а) употребляется амбиперсональная форма прошедшего времени.

(14') ‘В том году был основан наш город’.

а. Финский Sinä vuonna **perustettiin** meidän kaupunkimme.

б. Голландский In dat jaar **werd onze stad gesticht**.

Вторая особенность следующая: приведенные в (13) примеры во всех остальных языках, кроме финского, можно превратить в **трехчленные** пассивные конструкции с субъектным дополнением, не изменяя глагольной (диатезной) формы. В финском же в этом случае употребляется другое причастие (*perustama*), которое без субъектного дополнения употребляться не может:

(15) Каупункимме он *Pietari Suuren perustama*.

‘Наш город основан Петром Первым’.

Примечательно, что это чисто статальный пассив. Для передачи содержания примера (14) в финском языке имеются, во-первых, супрессивная конструкция (когда субъект не могут или не хотят выразить), и, во-вторых, активная конструкция, называющая субъект. Пассива нет.

Как русская (краткая) форма страдательного причастия прош.вр. *основан* противопоставляется форме действительного залога *основавший* (правда, встречающейся лишь в полной форме), так и финская форма *perustettu* противопоставлена активной форме *perustanut*. Обе формы образуют с вспомогательным глаголом аналитические формы перфекта, так что, в

частности, пример (13а) интерпретируется либо как перфект амбиперсонала, либо как статальный пассив. Впрочем, статальный пассив от результитивного перфекта ничем не отличается. При другом порядке слов мы, правда, получаем еще одну, несколько натянутую интерпретацию:

(13'') Kaupunkimme on vuonna 1550 perustettu.

‘Наш город является основанным в 1550 году’.

5. Супрессив и амбиперсонал

А. Пихлак [Pihlak 1993] предложил, вслед за И. А. Мельчуком, использовать при анализе прибалтийско-финской категории термин **супрессив**. Если пассив представляет залог, который образуется **перестановкой** актантов, супрессив предусматривает **вычёркивание** актантов [Мельчук 1991: 65].

В эстонской лингвистике принято использовать термин **umbisiklik** (‘неопределенно-личный’). В финской грамматике традиционно применяется термин “пассив(ный)” независимо от того, идет ли речь о синтаксической конструкции или о глагольной форме. В эстонском же языке выделяется и **umbisikuline passiiv** ‘неопределенно-личный пассив’. Разумеется, говорить о “пассивном пассиве” — нелепо. Вместо двойной пассивной конструкции целесообразнее рассматривать данные случаи как комбинацию двух стратегий, супрессивной, которой определяется амбиперсональная финитная форма глагола, и пассивной, при которой используется страдательное причастие с глаголом-связкой. Ср. так называемую агентную конструкцию финского языка:

- (15) Maa-ssa ollaan lama-n
 страна-INESS быть:AMBIP депрессия-GEN
masenta-m-i-a.
 подавить-PART:PASS-PL-PRTV
 ‘В стране **подавлены депрессией**’

Причастие, употребленное в (15а), является единственной в финском языке формой, образующей собственно пассивную конструкцию. Впрочем, данная конструкция представляет со-

бой **пассив состояния**. Составной частью конструкции является субъектное дополнение в форме генитива: она без него употребляться вообще не может. Поэтому мы считаем обоснованным придерживаться терминологии, при которой различаются **амбиперсональные формы глагола и супрессивные конструкции**, образуемые с помощью амбиперсональных форм. Старательные формы глагола, в свою очередь, участвуют в образовании (редкой в финском языке) пассивной конструкции.

Следующие предложения будут **пассивами**: в (16) примеры пассива состояния, а в (17) — акционального пассива.

(16)

- а. Финский Kirja on mestari-n teke-mä.
книга быть мастер-GEN делать-PART:PASS
'Книга сделана (написана) мастером'.
- б. Эстонский Teine trükk on Hurd-a
второй издание быть Хурт-GEN
redigeeri-tud.
редактировать-PART:PASS:PST
'Второе издание отредактировано Хуртом'.
- в. Английский This violin is **made by a Bohemian master.**
'Эта скрипка сделана баварским мастером'.
- д. Русский Здание **построено** итальянским архитектором.

(17)

- а. Английский The paper **was presented by Mr.NN.**
'Доклад был сделан господином NN'.
- б. Эстонский Min-d pete-t-i
я-PRTV обмануть-AMBIP-PST
ота naise poolt.
собственный жена:GEN сторона:ABL
'Я был обманут своей женой'
- в. Русский **Иваном Петровичем была брошена**
неожиданная фраза.

6. Супрессивные конструкции

Если мы будем интерпретировать понятия супрессив и пассив как синтаксические понятия, то на основе критерия “**перестановка**” подлежащего и дополнения примеры в (18) будут пассивами. На основе же критерия “**вычеркивание**” предложения в (19) являются супрессивами. Во всех примерах в (18) встречается переходный глагол. В (18а) наблюдается выдвижение непрямого объекта на позицию подлежащего в причастной пассивной конструкции, в (18б) — неизменная позиция прямого объекта с выдвижением указательного местоимения на позицию (формального) подлежащего. В эстонском примере (19а) нет субъекта, а объект стоит в именительном падеже, что дает возможность спекуляции по поводу статуса этого слова: подлежащее, или дополнение (соответственно, по поводу пассивного или супрессивного статуса предложения). В финском примере (19б) тоже нет подлежащего, но объект стоит в партитивном падеже, следовательно, супрессивный статус предложения бесспорен.

(18)

а. Английский

The boy **was given** a book.

‘Мальчику дали книгу’.

б. Шведский

Det **bygg-s** ett husэто строить-PASS Indef дом
i närhet-en.

Prep близость-Def

‘Недалеко (отсюда) строится дом’.

(19)

а. Эстонский

Teh-t-i ära

делать-AMBIP-PST Part

suur töö.

большой работа

‘(Была) Совершена большая работа’

‘Совершили большую работу’).

б. Финский

Minu-a **on pet-etty.**

я-PRTV быть обмануть-

PART:PASS:PST

‘Меня обманули’.

В примерах в (20) глаголы — непереходные, в (20а) в причастной страдательной конструкции без подлежащего, в (20б) с активной формой глагола и с амбиперсональным местоимением в позиции подлежащего, а в (20в) в амбиперсональной форме перфекта без подлежащего. В (20а) и (20в) вычеркнуто подлежащее, значит, предложения — супрессивы, тогда как (20б) является активным предложением с амбиперсональным подлежащим — неопределенным субъектным местоимением.

(20)

- а. Немецкий Am Abend **wurde getanzt**.
‘Вечером танцевали’
- б. Шведский Om kväll-en **bruk-ar**
Prep вечер-Def Aux:HAB-PRS
man dansa.
Pron:AMBIP танцевать
‘Вечером принято танцевать’.
- в. Финский Täällä **on kuol-tu**
здесь быть умереть-PART:PASS:PST
saappaat **jala-ssa**.
сапог-PL нога-INESS
‘Здесь умирали в сапогах’.

7. Обобщенно-личный амбиперсонал

Следующие предложения представляют обобщенно-личный вариант амбиперсонала: акциональные (21) и статальные пассивы (22), в зависимости от динамичности или статальности вспомогательного глагола (связки):

- (21) Немецкий **Man wurde von den Beobachtern sofort entdeckt**.
‘Ты был сразу обнаружен наблюдателями’.

(22)

- а. Немецкий In so einer Situation **ist man von allen vergessen**.
‘В такой ситуации (бываешь) всеми забыт’.

- б. Финский Minu-n asema-ssa-ni (si-tä)
 я-GEN положение-INESS-POSS(это-PRTV)
 on *kaikki-en*
 быть все-GEN
arvostele-ma.
 критиковать-PART:PASS
 ‘В моем положении (бываешь)
 всеми критикуем’.

Рассмотрим следующий пример (23), взятый из романа Э. М. Ремарка⁵, и его переводы на эстонский (23б), шведский (23в) и финский (23г) языки:

- (23) ‘Представь себе, как за *тобой* тогда будут ухаживать!’
 а. **Stell dir vor, wie *du* dann **traktiert** wirst.**
 б. Kujuta endale ette kuidas *sind* siis **kostitatakse**.
 в. Och tänk, så mycket *man* **blir bjuden** på sen.
 г. Ajattele, miten *sinua* **pidetään** hyvänä!

Любопытным здесь является то, что как в оригинале, так и в эстонском и финском переводе употребляется местоимение второго лица с соответствующей формой 2 л. ед. ч. финитного глагола, но в шведском переводе выступает амбиперсональное субъектное местоимение *man*. Дело в том, что обобщение здесь реализуется — за исключением шведского перевода — через второе лицо.⁶

Местоимение второго лица в разговорной английской речи представляет собой стандартное средство выражения именно обобщенноличности⁷. В русском языке глагольная форма

⁵ Erich Maria Remarque, *Im Westen nichts Neues* [1929]. Русский перевод: *На западном фронте без перемен* [1929]. Здесь русский перевод автора статьи.

⁶ Речь идет о мечтах солдат о том, что было бы, если бы кончилась война.

⁷ “A speaker or writer uses **you** ... 2. to refer to people in general rather than a particular person, for example in statements about what usually happens in a particular situation; used mainly in informal spoken English. EG *Of course, you get differences in organization... It's awful when you can't remember someone's name.*” [Collins Cobuild 1987, s.v. *you*]

2 л. ед. ч. с нулевым местоимением регулярно выступает в этом значении.

Исследователи обратили внимание на то, что пассивные конструкции русского языка неспособны указывать на “личность” имплицитного субъекта, в отличие от неопределенноличной конструкции.⁸ Неопределенноличность остается лишь одним возможным прочтением пассивного предложения. Более того, под вопрос можно поставить вообще способность пассивных конструкций выражать **обобщенноличность**.

Если для выражения неопределенноличности в разных языках употребляют перифрастические супрессивные конструкции, т.е. страдательные формы причастия без субъектного дополнения, то для выражения обобщенноличности они вряд ли применяются. Можно предполагать, что в отличие от двучленных (с переходным глаголом и объектом в позиции подлежащего) одночленные (с непереходным глаголом) страдательные конструкции, которые в некоторых языках получают формальное подлежащее, всегда являются неопределенноличными конструкциями, и никогда — обобщенно-личными.

Тем не менее, совсем исключить такое употребление, видимо, нельзя. В примере (24), приведенном Ф. Фичи (вслед за Никифоровым [1952: 320]), страдательная конструкция как бы функционирует для обобщенно-личного указания на действия, совершаемые или совершенные самим говорящим. Автор отмечает [Fici Giusti 1994: 94], что такое употребление близко к посессивному перфекту. Можно заметить, что здесь мы имеем дело с функцией перфекта, близкой к его экспериенциальному варианту. Мы могли бы рассматривать данную конструкцию и как эллиптический личный перфект.

(24) Древнерусский XVI в. [Fici Giusti 1994: 95]

*Смолоду **бито** много, **граблено**, под старость надо душа спасти.*

Возвратно-страдательные же формы могут в супрессивной конструкции употребляться со значением обобщенноличнос-

⁸ Ср. Мельчук [1974], Булыгина и Шмелев [1991: 52¹²]; он был исцарапан ↔ его исцарапали.

ти, как показывает пример (25а) из итальянского. Таким образом, кроме форм 2 л., имеется еще ряд стратегий выражения обобщенной личности. В английском языке наряду с обыкновенным в устной речи местоимением 2 л. (25б) в книжном стиле пользуются числительным 'один' в местоименной функции⁹. В финском (и эстонском) языке грамматикализовалась бесподлежащая конструкция с формой 3 л. ед. ч. глагола (25в), а в немецком (25г) и скандинавских языках (25д) — субъектное местоимение *man*, во французском — *on*.

(25) 'Никогда (этого) не знаешь!'

а. Итальянский *Non si sa mai.*
 NEG REFL знать.3SG никогда

б. Английский *You never know.*

в. Финский *Ei si-tä koskaan tiedä.*
 NEG это-PRTV когда-нибудь знать

г. Немецкий *Man weiß es nie.*

д. Шведский *Man vet inte.*

8. Вместо заключения

В заключение можно отметить, что рассматривавшиеся выше вопросы залога и персональности давно находятся в центре внимания лингвистов. О пассиве в разных языках написано огромное количество научных работ. В то же время в изучении возникновения и эволюции пассивных и других залоговых категорий последнее слово еще не сказано. В частности, рано еще формулировать гипотезы об универсальных путях грамматикализации. Кое-что сделано, но что-то еще остается задачей лингвистов.

⁹ *One has to think of the consequences* 'Надо подумать о последствиях'.

ЛИТЕРАТУРА

- Булгыгина Т. В. и А. Д. Шмелев. 1991. — Референциальные, коммуникативные и прагматические аспекты неопределенноличности и обобщенноличности. // Теория функциональной грамматики: Персональность. Залоговость. Санкт-Петербург: Наука. С. 41–62.
- Мельчук И. 1991. — Ещё раз к вопросу об эргативной конструкции. // Вопросы языкознания № 4. С. 46–88.
- Никифоров С. Д. 1952. — Глагол. Его категория и формы в русской письменности второй половины XVI века. Москва: изд. АН СССР.
- Теория 1991. — Теория функциональной грамматики: Персональность. Залоговость. Санкт-Петербург: Наука.
- Томмола Ханну [в печати]. Заметки к типологии амбиперсонала.
- Шелякин М. А. 1991. — О семантике неопределенно-личных предложений. // Теория функциональной грамматики. Персональность. Залоговость. Санкт-Петербург: Наука. С. 62–72
- Collins Cobuild English Language Dictionary. London & Glasgow: Collins. 1987.
- Fici Giusti F. 1994. — Il passivo nelle lingue slave: Tipologia e semantica. // *Materiali Linguistici*. Università di Pavia. Milano: Franco Angeli.
- Pihlak A. 1993. — A comparative study of voice in Estonian. [= *Eesti Sisekaitse Akadeemia Toimetised*, 1] Tallinn: Eesti Sisekaitse Akadeemia.
- Tommola H. 1993. — Ambipersonainen Suppressiivi: diateesista suomessa ja virossa // *Yli-Vakkuri, Valma* (ред.), *Studia comparativa linguarum orbis Maris Baltici 1*. Tutkimuksia syntaksin ja pragmatiikan alalta. Publications of the Department of Finnish and General Linguistics of the University of Turku 43. Turku. 41–96.

ON SUPPRESSIVE AND AMBIPERSONAL

S u m m a r y

In this article an attempt is made to develop those suggestions presented in (Mel'čuk 1991, Pihlak 1993, Tommola 1993) to introduce a category called suppressive. In languages like Estonian and Finnish, for instance, the agent, or rather the semantic subject, is suppressed in constructions that are traditionally called "impersonal passives". It is, however, unclear in which sense we could speak of "suppressed" (or deleted) agents.

Should then all subjectless sentences be taken as suppressives? How can we know in which case the subject has been deleted, and in which cases the situation does not “need” a subject. The author suggests that, in principle, all subjectless sentences could be taken as suppressive if they convey a situation where there is a human agent. This is, in fact, the category that has been labelled as *ambipersonal* in (Tommola 1993).

In the article the relationships between voice and referential meaning are discussed. The origin of passive is suggested to be searched for in resultative stative constructions. In Finnish, there still is only a stative passive construction.

It is maintained that, cross-linguistically, *ambipersonal* constructions are presented by special categories with sets of verb forms (1), by second or third person verb forms with (2) or without personal pronouns (3), or with a specific *ambipersonal* subject (and/or object) pronoun; by reflexive (4) and periphrastic passive (5) constructions.

Ambipersonal can be semantically divided into two subcategories: *indefinite-personal* and *generic*. In some languages the means to express those *ambipersonal* meanings are separate. For example, in Russian the 3rd person plural is used to indicate an *indefinite-personal* subject, whereas *generalizing* subject is expressed by the 2nd person singular verb form. In both uses the surface subject is lacking. In Finnish and Estonian, subjectless use of the 3rd person singular form is *generic*, the special *ambipersonal* form is, as a rule, *indefinite-personal*. Periphrastic passive does not seem to allow *generic* reading, unless the semantic object is made the subject of the passive clause — and suppressed.

ПЕРФОРМАТИВНАЯ МОДАЛЬНОСТЬ НЕОБХОДИМОСТИ

(к вопросу о метатекстовых модальностях)

С. Н. Туровская

Интерпретация модальности необходимости как отношения субъекта высказывания к действию (субъект должен, субъекту необходимо сделать что-либо) при различиях в терминологии и наличии вариативности в определениях является наиболее распространенной. Так, используются термины: “внутрисинтаксические модальные отношения” [Золотова 1973: 151], “внутренняя модальность” [Филипповская 1978: 42], “лексическая модальность” [Шведова 1870: 130], “модальность лексических показателей” [Шмелева 1984: 95], “модальность предиката” [Лекант 1976: 95], “субъектная модальность” [Ломов 1977: 51], “предметная модальность” [Пете 1970: 225], “предикативная модальность” [Беляева, Цейтлин 1990: 123], “оценка ситуации с точки зрения ее возможности, необходимости или желательности, выражаемая модальными глаголами и другими модальными словами” [Бирюлин, Корди 1990: 68]. Как следует из приведенного списка, модальность квалифицируется в основном по двум признакам: конструктивному и формальному.

Существующие определения модальности необходимости как оценки мало что добавляют к прояснению содержательных характеристик, ибо существуют “внутри” этих вышеуказанных подходов. Приведем наиболее фундаментальное определение: “Модальность возможности и необходимости представляет собой разновидность предикативной модальности, отражающей оценку говорящим способа существования связи между предикативными предметами, т.е. субъектом и его признаком” [Беляева, Цейтлин 1990: 123].

В данной статье речь пойдет об одном нетривиальном значении необходимости (нетривиальном с точки зрения внутри-

синтаксической квалификации необходимости), которое реализуется не только в пределах отдельного высказывания, но и текста в целом.

Лексические актуализаторы подобного типа значения — модальные предикаты и предикативы (типа *следует, должен, необходимо, надо/нужно* и пр.) с примыкающими к ним инфинитивами глаголов речевого и ментального планов типа *сказать, добавить, отметить* (= *обратить внимание*), *признаться, сознаться* и т.п. Ср.: *Да, следует отметить первую странность этого страшного майского вечера. Не только у будочки, но и во всей аллее, параллельной Малой Бронной улице, не оказалось ни одного человека* (М. Булгаков); *Надо сказать, что квартира эта — № 50 — давно уже пользовалась если не плохой, то, во всяком случае, странной репутацией. Еще два года назад...* <и далее по тексту> (М. Булгаков); *Надо признаться, что я точно не люблю женщин с характером: их ли это дело...* (М. Лермонтов); *Надо отдать справедливость Поликсене Торонецкой: дело свое она знала. Она писала десятью пальцами...* <и далее по тексту> (М. Булгаков); *Мы все должны признаться: вкусу очень мало У нас и в наших именах (Не говорим уж о стихах)* (А. Пушкин); /Большинцов/: *“Я должен вам признаться, Игнатий Ильич, что я... я вообще с дамами, с женским полом вообще мало, так сказать, имел сношений; я, Игнатий Ильич, признаюсь вам откровенно...”* <и далее по тексту> (И. Тургенев); /Вершинин/: *“Что же еще вам сказать на прощание?... Жизнь тяжела. Она представляется многим из нас глухой и безнадежной, но все же, надо сознаться, она становится все ярче и легче...”* (А. Чехов).

Как следует из вышеприведенных примеров, проблематична не только интерпретация необходимости как имеющей исключительно внутрисинтаксический характер, но проблематичны и некоторые семантические характеристики модальности необходимости (давно ставшие “аксиомой”): ее потенциальность [об этом подробнее: Беляева, Цейтлин 1990: 123]. В данных примерах потенциальный характер необходимости проявляется разве что “синтагматически” — в последующем тексте, — да и то не всегда: в случае с вводными конструк-

циями эта “линейная” последовательность разрушается. Интуиция подсказывает, что причина описанных “нарушений” кроется в двойственном характере подобных высказываний: они поддаются двоякой интерпретации — дескриптивной и прескриптивной. В первом случае предоставляется информация о модальности (дескрипция), во втором — высказывание включается в план итеракций, т.е. в план взаимодействия говорящего и адресата. Адресат при этом не всегда “материализован” в тексте — чаще всего он лишь “прогнозируется” автором текста. На скрытое двухголосье в монологическом высказывании обратил внимание еще М. М. Бахтин: “/.../ диалогические отношения возможны и к своему собственному высказыванию в целом, к отдельным его частям и к отдельному слову в нем, если мы как-то отделяем себя от них, говорим с внутренней оговоркой, занимаем дистанцию по отношению к ним, как бы ограничиваем и раздваиваем свое авторство” [Бахтин 1972: 315]. Развивая эти и другие идеи, А. Вежбицка вводит понятие метатекста — высказывания о высказывании: “/.../ комментатором текста может быть и сам автор. Высказывание о предмете может быть переплетено нитями высказываний о самом высказывании. В определенном смысле эти нити могут сшивать текст о предмете в тесно спаянное целое высокой степени связности. Иногда они служат именно для этого. Тем не менее сами эти метатекстовые нити являются инородным телом... при составлении семантической записи не только можно, но и **нужно** разделить эти гетерогенные компоненты” [Вежбицка 1978: 404]. Далее, А. Вежбицкой выделяются выражения, в которых “эксплицитно упоминается сам акт речи... Основой их, элементарной формой этой гетерогенности высказывания... является предложение **Я говорю, что Р**, употребленное не как стилистический вариант в сообщении о свершившихся фактах (вместо “Я сказал, что Р”), а по существу относящееся к настоящему моменту” [Вежбицка 1978: 406–407]. Т. В. Шмелева, опираясь на идеи А. Вежбицкой, так интерпретирует понятие метатекста: “/.../ содержательная сторона метатекста состоит не в выражении отношения говорящего к объекту повествования (как в модусе), а в объяснении и “оправдании” своего автор-

ского поведения: логики изложения, последовательности введения фактов, переходов от одной мысли к другой и т.п. Метатекст в определенном смысле ближе к коммуникативному аспекту предложения: он целиком обращен к адресату и во многом определяется тем, как говорящий оценивает возможности своих слушателей, их потребность в авторских комментариях” [Шмелева 1984: 82]. На этом основании (противопоставления метатекста и модуса) Т. В. Шмелева исключает метатекст из круга фактов, относимых к модальности. Это спорно, так как не только автор текста, но и персонажи (т.е. сам предмет описания) допускают по формуле “высказывание о высказывании” употребление метатекстовой модальности: “Я должен вам сказать, что...” Кроме того, эта формула вполне укладывается в определение практической необходимости как оценки необходимого действия в ближайшем будущем. Специфично само действие — акт речи, а оценки те же: “важно”, “полезно”, “необходимо” и т.д.

Итак, суть значения перформативной надобности состоит в том, что, являясь оценкой априори, т.е. эллиптической по своему характеру, при этом настолько очевидной, что не требуется экспликация мотивов оценки (очевидность достигается точным указанием на субъект оценки и спецификой лексического значения глаголов в форме инфинитива — глаголы речи, мысли — при модальных предикатах со значением необходимости), она выполняет две функции: самооценки (“важно”, “правильно”, “обязательно”), т.е. уже как бы дескрипции (готовой оценки с последующим описанием содержания — сообщения “важного”, “правильного”, “обязательного” и т.п.) и оценки возможностей адресата (присутствующего в момент речи в случае устного текста или потенциального в случае письменного текста), суть которой заставить адресата оценить сообщаемое как “важное”, “правильное”, “обязательное” или просто заставить слушать или читать, т.е. прескриптивная функция. Прескриптивная функция доминирует. Пафос не в том, чтобы довести до адресата, как автор текста “относится” к своему высказыванию, а в том, чтобы убедить адресата перенять готовые шаблоны-оценки, навязать определенную роль. Изначально внутрисинтаксический характер необходимости

благодаря лексическому наполнению разрушается, и практическая необходимость выходит не только за “внутрисинтаксические” рамки, но и за пределы предложения, высказывания в целом, оставаясь с тем же семантическим потенциалом, но с различным прагматическим окружением. Необходимо добавить, что сфера воздействия готовых авторских оценок не ограничена какими-либо пределами. Это может быть и предложение, и текст в целом (см. вышеприведенные примеры). В принципе объект оценки — всегда открытая структура.

Среди наиболее распространенных грамматических актуализаторов подобного типа высказываний следует назвать вид — СВ инфинитива, примыкающего к модальному предикату/предикативу. Наиболее регулярная функция СВ — наглядно-примерная; абсолютный характер настоящего времени — настоящее актуальное. Среди конструктивных особенностей — сложноподчиненные структуры с придаточными изъяснительными, вводные конструкции.

ЛИТЕРАТУРА

- Бахтин М. М. 1972. — Проблемы поэтики Достоевского. Москва: Художественная литература.
- Беляева Е. И., Цейтлин С. Н. 1990. — Соотношение значений возможности и необходимости в семантической сфере потенциальности // Теория функциональной грамматики: Темпоральность. Модальность. Ленинград: Наука. С. 123–126.
- Бирюлин Л. А., Корди Е. Е. 1990. — Основные типы модальных значений, выделяемых в лингвистической литературе // Теория функциональной грамматики: Темпоральность. Модальность. Ленинград: Наука. С. 67–71.
- Вежбицка А. 1978. — Метатекст в тексте // НЗЛ. Вып. VIII. Москва: Прогресс. С. 402–421.
- Ермолаева Л. С. 1977. — Типология системы наклонений в современных германских языках // ВЯ, № 4, с. 97–106.
- Золотова Г. А. 1973. — Очерк функционального синтаксиса русского языка. Москва: Наука.
- Лекант П. А. 1976. — К вопросу о модальных разновидностях предложения // Современный русский язык. Лингвистический сборник МОПИ. Вып. 6. Москва. С. 92–102.

- Ломов А. М. 1977. — Очерки по русской аспектологии. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та.
- Пете И. 1970. — Типы синтаксической модальности в русском языке // *Studia slavica Acad. scient. Hungaricae. Budapest.* XVI. № 3–4. С. 219–236.
- Филипповская И. А. 1978. — Модальность предложения. Душанбе: Тадж. гос. ун-т.
- Шведова Н. Ю. 1974. — О долженствовательном наклонении // *Синтаксис и норма.* Москва: Наука. С. 107–121.

PERFORMATIVE NECESSITY (Some Problems of Metatextual Modality)

S u m m a r y

The possibility of the inclusion of performative necessity into a broader context of metatextual modality is under discussion. The main definitions of the term “metatextual” are analysed. The peculiarity of this type of necessity is the “purely” pragmatic meaning (the speaker “controls” the consciousness of the listener). The paper describes linguistic means used to express the modal meaning of performative necessity.

РЕТРОСПЕКТИВНАЯ МОДАЛЬНОСТЬ НАДОБНОСТИ: ВЫСКАЗЫВАНИЯ О НЕПРАВИЛЬНО СДЕЛАННОМ ВЫБОРЕ. СЕМАНТИКА И СРЕДСТВА АКТУАЛИЗАЦИИ

С. Н. Туровская

— /.../ И вообще не бывает так, чтобы все стало, как было...
— Не бывает, вы говорите? — сказал Воланд. —
Это верно. Но мы попробуем...

М. Булгаков

Хотя модальности необходимости посвящена обширная литература, она продолжает оставаться предметом серьезных разногласий; последнее обстоятельство создает увлекательную для исследователей возможность ее очередной интерпретации. В данной статье речь пойдет лишь об одном частном значении модальности необходимости: практической необходимости — надобности. О принципиальной значимости разбиения концепта необходимости, лежащего в основе “классической” модальности необходимости, на концепты вынужденности, надобности, долженствования¹ (нормы), долженствования² (идеала) в целях адекватного лингвистического описания см. [Туровская 1990]. Подобное частное значение практической необходимости четко проявляется в высказываниях типа: (1) “**С этого прямо и нужно было начинать**, — заговорила она, — а не молоть черт знает что про отрезанную голову!” (М. Булгаков); (2) **Идя по улице, она говорила сама себе: “Зачем я пошла к адвокату? Мне нужно было пойти прямо к доктору. Самое лучшее — это пойти к доктору, пусть он даст свидетельство о гнусном насилии”** (А. Аверченко); (3) “**Что вы наделали? — накинулся на него чернявый. — И четверти часа не прошло! Нужно было медленнее, а вы упрямы как коровий бык! Идите теперь на “бис”** (Тэффи); (4) **Надо было ехать не сюда, а на север, к ней навстречу. Тогда, может быть, мы и спасли бы ее ...** (Е. Шварц).

Этот тип значения был назван ретроспективной надобностью, а высказывания подобного типа — высказываниями о неправильно сделанном выборе. Они примечательны в первую очередь тем, что не укладываются в существующие и распространенные в русистике представления о содержании и характере модальности необходимости.

Самой распространенной и, на первый взгляд, аксиоматической точкой зрения является признание в первую очередь “внутрисинтаксического” характера (отношение субъекта высказывания к действию) модальности необходимости. “Внутрисинтаксический” план покрывается инвариантным “внешнесинтаксическим” (отношение содержания высказывания к действительности с точки зрения реальности/ирреальности). Так рассматривается модальность в работах [Золотова 1973; Ломтев 1972; Ермолаева 1977] и многих других. Таким образом, необходимость может быть “реальной” — *Ему необходимо учиться* и “ирреальной” — *Ему было бы необходимо учиться*. Главным критерием разграничения является категория наклонения — изъявительного для реальной модальности и условно-желательного, побудительного для ирреальной [Золотова 1973: 142, 151]. Следовательно, высказывания, ставшие объектом анализа, на этом основании должны быть отнесены к фактам реальной действительности, а высказывания типа: (5) *Надо было бы начать с этого письма: тогда мы оба избавились бы многих упреков совести впереди; но и теперь не поздно* (И. Гончаров) — к ирреальной. Между тем для многих высказываний первого типа (т.е. со связкой в индикативе) вообще проблематичен показатель ирреальности *бы*: (6) *“Вот и нужно было <*бы> не спорить, — тихо сказал Бомбардов, — а отвечать так: очень вам благодарен, Иван Васильевич, за ваши указания, я непременно постараюсь их исполнить”* (М. Булгаков); (7) *“Это напрасно, — отозвался Иван Васильевич, — нужно было <*бы> обратиться к профессору Плетушкову, тогда бы ничего не было”*. Я выразил на своем лице сожаление, что не обратился к Плетушкову (М. Булгаков). И в то же время они не являются фактами “реальной” действительности. Ср.: (8) *Надо было купить масло. Он зашел в магазин* (А. Битов) — факт действительности; (9) *Надо*

было купить масло по дороге из дому, а теперь все магазины закрыты (А. Битов) — никак не может быть причислено к фактам действительности.

Другая интерпретация модального значения необходимости и его отношения к противопоставлению “реальность/ирреальность” предложена в работе [Шмелева 1984]. Необходимость (а также другие “внутрисинтаксические” модальности — возможность, желательность, долженствование) рассматриваются в одной плоскости — постепенного перехода от ирреального (воображаемого) к реальному (наблюдаемому). Точка отсчета для этих модальностей — квалификация события как ирреального до его осуществления. В отношении рассматриваемых высказываний применение такой схемы затруднительно. Событие не осуществлено, и в то же время нет указания на его ирреальность, более того, в тексте имеется указание на его вероятную “реальность” в прошлом: (10) *Что же я буду делать? А? Какой я легкомысленный человек! Нужно было отказаться от этого участка. Нужно было.* (М. Булгаков).

Представление высказываний с модальным значением необходимости как оценочной структуры в работах [Беляева, Цейтлин 1990; Цейтлин 1990] само по себе не решает проблемы, поскольку в качестве основания оценки необходимости принимается во внимание только “детерминирующий фактор”, т.е. причинно-следственные отношения [Цейтлин 1990: 146]. Интерпретируемые высказывания вообще не могут быть истолкованы в каузальных терминах, потому что главное действующее лицо — субъект действия — направлено на изменение чего-либо в своем окружении, а не окружение направлено на субъект действия (вектор “человек → мир”, а не “мир → человек”); это подтверждается наличием альтернативы в прошлом (как известно, каузальное истолкование исключает альтернативу): (11) *Нужно было идти домой сразу. А сейчас? ... Сейчас ночь, два часа, третий* (А. Битов).

Обилие примеров, не вызывающих сомнения в том, что они содержат модальное значение надобности (необходимости) и вместе с тем не укладываются в рамки бытующих в лингвистической литературе определений данной модальности, наво-

дит на мысль о существовании глубоких причин такой теоретической неудачи. И, как думается, одна из главных причин кроется в несоизмеримости терминов “реальность” и “ирреальность”. Если “реальность” (имеется в виду только ее лингвистическое толкование) может быть сведена (с той или иной степенью огрубления) к “фактически наблюдаемому” [Пешковский 1938: 106], “актуальному”, “фактическому” [Бондарко 1990: 72], то термин “ирреальность” оказывается неизменно шире по объему, поскольку в таком случае он должен охватывать все то, что не входит в понятие “реальность” (т.е. границы “ирреальности” как термина расплывчаты, ср.: “воображаемое”, “мыслимое” [Пешковский: 106], “идеальное” [Потебня: 179]).

В этом плане теоретическим выходом являются концепции постепенного перехода от ирреального к реальному через “осуществление” [Шмелева 1984], через “потенциальность” [Бондарко 1990]. В таком толковании сама идея отграничения “реального” от “ирреального” становится методологически избыточной. Однако то, что плодотворно с точки зрения теории, не всегда применимо в описательных целях.

* * *

Есть острая забава в том, чтобы, оглядываясь на прошлое, спрашивать себя, — что было бы, если бы ..., заменять одну случайность другой, наблюдать, как из какой-нибудь серой минуты жизни, прошедшей незаметно и бесплодно, вырастает дивное розовое событие, которое в свое время так и не вылупилось, не просияло...

В. Набоков

Для описания данного типа высказываний воспользуемся другой схемой — идеей возможных миров, т.е. мыслимых альтернативных состояний. При этом нас будут интересовать вопросы целостности каждого возможного мира (альтернативного состояния) и различные способы связи между возможными мирами.

Как уже было показано выше, понятие альтернативы — семантическое ядро подобного типа высказываний. В логике практического рассуждения (а рассматриваемые примеры вполне подходят под определение практического рассуждения — “процесс формирования намерения субъекта изменить что-либо в своем окружении” [Ишмуратов 1987: 4]) формальными альтернативами признаются две ситуации с одинаковыми интервалами, но разными описаниями [там же: 33]. Из того, что глубинной структурой подобного типа высказываний является практическое рассуждение, следует и другой важный вывод — они могут быть интерпретированы как оценочные. Основанием оценки в таком случае выступает цель (что и отражается в вышеприведенных примерах: ср. разноуровневые субституты цели — *зачем? к доктору, домой, на север* и т.п.) и средства к достижению цели (необходимые действия, выраженные примыкающими к модальным предикативам инфинитивами *есть, начинать, отказаться* и т.п.).

Итак, в качестве двух альтернативных ситуаций предстают а) “правильное” положение дел в возможном мире W_1 , который совпадает с ментальным миром субъекта при выборе необходимых средств для достижения цели; оценка “правильно” относится к моменту принятия решения; б) “неправильное” положение дел в возможном мире W_0 , который совпадает с “действительным” миром, т.е. миром непосредственно наблюдаемым; оценка “неправильно” относится к моменту речи. Ср.: (12) *Как-то все глупо получилось, думал он. Надо было предупредить маму* (А. Битов).

Физическое время (так называемое объективное время) течет от прошлого через настоящее к будущему — от “неправильно” сделанного выбора в прошлом до недостигнутой цели в настоящем. Психологическое время (внутреннее время субъекта) распределено в контексте целей и средств к их достижению. При недостигнутой цели психологическое время “обратимо” (физическое время всегда необратимо), т.е. мысленно субъект возвращается в прошлое и “принимает” правильное решение *a posteriori* (выбирает альтернативное средство при той же цели). Интервалы ситуаций а) и б) одинаковы с точки зрения физического времени — от одной и той же точки в

прошлом до момента речи, но расположены в различных мирах: действительном (наблюдаемом) и реально возможном (идеальном). В различных системах ценностей расположены и оценки. В логике оценок оценки с различными основаниями (мотивами) — разные оценки, хотя они и даются в одно и то же время (физическое) — момент речи. В результате в одном высказывании присутствуют два типа оценок: “плохо” (“неправильно”, “невыгодно”, “глупо”, “невыносимо”, “немыслимо” и т.п.) — так сказать, оценка “плачевных” последствий неправильного поведения субъекта, основанием оценки выступает цель, точнее, недостигнутая цель; и “хорошо”, “лучше”, “правильно”, “уместно”, “выгодно” и т.п. — оценка “использованной” альтернативы, основание оценки — средство к достижению цели. Таким образом, совмещаются возможные миры W_1 и W_0 в третьем мире W_2 — мире ценностей субъекта. В данном случае единицей психологического времени субъекта является связь между целью и средством. Цель (объект интенции) всегда относится к будущему времени. Своеобразие значения ретроспективной надобности состоит в том, что высказывания с этим типом значения направлены в будущее через прошлое.

Возникает вопрос, в будущее какого мира? Если высказывания типа (8) направлены от прошлого действительного мира (т.е. фактического) в будущее фактического мира (факты стали реальностью): X надо было сделать нечто, что он намеревался сделать; X делал это; — то высказывания типа (9) направлены в будущее идеального мира: произошло то, чего X не ожидал; X думает, что он мог делать иначе, и ему надо было сделать иначе. При общем плане выражения (модальный предикатив + связка в форме прошедшего времени + примыкающий инфинитив) высказывания (8) и (9) обладают различным содержанием.

Различие в содержании высказываний предопределяется контекстом — дескриптивным или оценочным. В высказываниях типа (8) дескриптивный характер контекста — изложение фактов, имевших место в прошлом (т.е. “реальных” фактов) определяет и дескриптивный характер модальности надобности. В высказываниях типа (9) оценочный характер контекста

ста актуализирует оценочный смысл надобности. Интересно отметить, что при этом в высказываниях оценочного типа происходит сдвиг лексического значения модального предикатива — от ‘необходимо’ к ‘правильно’, ср.: (13) *Обед его был обеспечен. **Надо было найти воды.** Она журчала неподалеку. Флореас пошел на звук...* (А. Амфитеатров) — дескрипция; (14) “*Отец очень огорчен, что ты ничего не написал ему, — сказала она, — **нужно было попросить** у него благословения*” (А. Чехов) — оценка. Сдвиг в лексическом значении становится возможным именно на фоне оценки “плохо” (общая оценка наблюдаемой действительности); ср. толкование *правильный* в словарях: 1) ‘верный, истинный, соответствующий действительности’ // ‘точный безошибочный’; 2) ‘настоящий, такой, какой нужен’ // ‘соответствующий действительным потребностям, приводящий к нужным результатам’ // ‘хороший, справедливый’.

Каким образом связаны в одном высказывании возможные миры? На связку *быть* приходится основная доля участия в формировании данного типа значения модальности надобности. Связка в форме прошедшего времени выполняет двойную функцию. С одной стороны, формирует представление о возможной реализации действия в прошлом действительного мира (мир W_0), о месте действия в этом мире, т.е. шаг к бытийности, фактуальности. С другой стороны, служит для отождествления миров W_1 (ментального мира субъекта), W_2 (ценностного мира субъекта), W_0 (действительного, наблюдаемого субъектом мира) [Хинтиikka 1980: 322]. На уровне поверхностных структур функция тождества связки *быть* подтверждается одновременной экспликацией двух альтернатив: **надо было А, а не В**, см. примеры (1), (3), (4), (6); функция бытийности, существования — экспликацией двух представлений: 1) **тогда было бы С**, см. примеры (2), (4), (7); иногда представление элиминировано из контекста, в этом случае его функцию выполняет общая оценка “плохо”, как правило, с большой степенью экспрессивности, см. пример (10); 2) **надо было делать/сделать А** — во всех примерах.

Представление 1 — представление последствий; представление 2 — представление выбора.

Наиболее частотными лексическими средствами для выражения значения ретроспективной модальности надобности являются предикативы *надо/нужно* в значении 'правильно'. Среди грамматических средств актуализации подобного типа значения выделяется форма времени. В первую очередь необходимо отметить относительный характер будущего времени. В сущности в высказываниях данного типа две точки отсчета: следование (будущее с точки зрения прошедшего — момент принятия решения) и предшествование (с точки зрения момента речи-оценки). Эту разновидность будущего времени можно определить как **будущее предварительное в прошедшем**. Категория вида иррелевантна для данного типа значения (ср.: *С этого и нужно было начинать/начать, а не...; Вот и нужно было отвечать/ответить так...; Нужно было делать/сделать это утром, а сейчас поздно...*) В формально-синтаксическом плане конструкциями, регулярными для экспликации данного типа значения, являются сложные и осложненные конструкции с противительными отношениями, в основном выражаемыми союзами *а, а не*.

Итак, проведенный анализ показывает, что модальное значение ретроспективной надобности формируют разноуровневые языковые средства. При этом в зависимости от степени прагматизированности контекста они с разной степенью релевантности являются его актуализаторами. Семантический потенциал этих разноуровневых средств определяется внешними рамками — границей концепта надобности (цель субъекта действия и средства к ее достижению). Внутри рамок возникают новые отношения между этими средствами, предопределенные общей функцией. Причем отношения эти заметны только в тексте. Субъектная природа модальности надобности предопределяет наличие множества возможных миров, которые не укладываются в дихотомическую схему реальность/ирреальность. Характер контекста определяет не только оценочную сущность модальности, но и дескриптивную. Контекст при определении модального значения высказывания — своего рода лента Мебиуса, связывающая все возможные миры.

ЛИТЕРАТУРА

- Беляева Е. И., Цейтлин С. Н. 1990. — Соотношение значений возможности и необходимости в семантической сфере потенциальности // Теория функциональной грамматики: Темпоральность. Модальность. Ленинград.
- Бондарко А. В. 1990. — Реальность / ирреальность и потенциальность // Там же.
- Ермолаева Л. С. 1977. — Типология системы наклонения в современных германских языках // ВЯ. № 4.
- Золотова Г. А. 1973. — Очерк функционального синтаксиса русского языка. Москва.
- Ишмуратов А. Т. 1987. — Логический анализ практических рассуждений: (формализация психологических понятий). Киев.
- Ломтев Т. П. 1972. — Предложение и его грамматические категории. Москва.
- Пешковский А. М. 1938. — Русский синтаксис в научном освещении. Москва.
- Потебня А. А. 1941. — Из записок по русской грамматике. Т. IV. Москва—Ленинград.
- Туровская С. Н. 1990. — О семантической зоне модальности необходимости в русском языке // Уч. зап. Тартуского ун-та, вып. 896. Тарту.
- Хинтиikka Я. 1980. — Логико-эпистемологические исследования. Москва.
- Цейтлин С. Н. 1990. — Необходимость // Теория функциональной грамматики: Темпоральность. Модальность. Ленинград.
- Шмелева Т. В. 1984. — Смысловая организация предложения и проблема модальности // Актуальные проблемы русского синтаксиса. Москва.

RETROSPECTIVE MODALITY OF NECESSITY:
WRONG-CHOICE UTTERANCES

S u m m a r y

The present paper discusses utterances with the modal meaning of retrospective necessity on the basis of the Russian language. The means

of expression of those utterances have a multilevel nature. The semantic potential of these means is determined by external boundaries — the border line of the necessity concept (the agent's purpose and means of achieving it). But in this case the peculiarity of this type of modal utterances of necessity is availability of two contrary estimates: "wrong" (direction towards present reality) and "good" (direction towards past possible world).

In other words: utterances as a certain wrong situations at present (purpose is not achieved, because the mean's choice was wrong) and at the same time explicate the ideal situation in the past (purpose would have been achieved).

СПОСОБЫ ЭКСПЛИКАЦИИ ДВОЙСТВЕННОСТИ В НАЗВАНИЯХ ДИКОРАСТУЩИХ ТРАВ

А. Штейнгольд

*Не знали мы названия цветка
Двухцветного, названье с потолка
Придумывал ему, и впрямь дикарь я.
Лиловый он, смотри, желтей желтка.
Оказывается, иван-да-марья!*

*Мы в Риме трав, как варвары, с тобой
Не знаем прав, культуры вековой,
До нас страдали, мучились, любили
И любовались радостью двойной.
О, жизнь вдвоем, всех благ милей не ты ли?*

А. Кушнер

Откликаясь на выход в свет этимологического словаря чешских и словацких названий растений В. Махека (“*Česká a slovenská jména rostlin*”) и обращая внимание автора на некоторые недочеты работы, В. М. Иллич-Свитыч, в частности, писал: “...Непонятой остается... семантическая связь параллельных названий для *Viola tricolor*...; чеш. *sirotka*, нем. *Stiefkind*, с одной стороны, и чеш. *maceška* (ср. рус. *мачеха*, *мать-и-мачеха* ‘*Tussilago farfara*’), нем. *Stiefmütterchen* — с другой, несмотря на объяснение автора, видящего в этой двойственности простой скачок от понятия ‘сирота, падчерица’ к противоположному понятию ‘мачеха’ ” [Иллич-Свитыч 1957: 131].

Лингвистический аспект экспликации двойственности в наименованиях растений мало изучен. Тема эта была популярной в Германии и Чехии в XIX веке в связи с фольклорно-мифологической ориентацией в филологии. Тут следует назвать имена Я. Гримма, Г. Крека [Grimm 1864–1890: V, 240; Krek 1887: 525–526] и П. Сobotки [Sobotka 1879: 247–248]. Чаще

всего исследователи констатировали отдельные явления, давали им узкое объяснение на базе натурологической легенды, сказки или обрядовой песни, избегая обобщений. Вяч. Вс. Иванов и В. Н. Топоров, изучая купальскую обрядность, вскользь коснулись интересующего нас аспекта в связи с ролью двуокрашенного цветка в обрядовом действе [Иванов, Топоров 1974: 224–230; 1987: II, 29].

Специально растению *Viola tricolor* (далее — VT) посвящена основательная работа В. Кругманна [Krogmann 1954]. Она представляет собой опыт всестороннего типологического исследования европейских наименований VT (по-русски: *фиалки трехцветной, анютиных глазок*). Собранный автором материал включает лексику многих языков и диалектов, исторические и ареальные формы одних и тех же слов и контексты их употребления.

Внимание автора привлек тот факт, что уже начиная с периода средневековья данное растение у германских, романских, славянских и прибалтийско-финских народов активно метафорически именуется посредством использования различных терминов родства и наименований семейно-социального статуса: *мачеха, сирота, вдова, брат, сестра* и пр. Наиболее ранние примеры относятся уже к XIV–XV вв. Ср. верх.-луж. *macoški*, чеш. *maceška* (XIV в.), польск. *wdówki, siostra z bratem* (XV в.), нем. *Stiefmuttrigen* (1570), *Stiefmütterlein* (1574) — два последних слова родственны современному нем. *Stiefmutter* ‘мачеха’. Ниже будут перечислены номинационные типы, вычленяемые исследователем, с избранными примерами.

1. “МАЧЕХА”

нем. <i>Stiefmütterlein, Stiefmütterle, Stiefmütterchen</i>	сев.-итал. <i>madrigne</i>
англ. <i>stepmother</i>	пьемонт. <i>tamadregna</i>
голланд. <i>stiefmoedertje</i>	с.-х. <i>mačuha</i>
исл. <i>stjupublomi</i> (blom ‘цветок’)	польск. <i>maceška</i>
норв. <i>stiefmor</i>	укр. <i>мачуха</i>
швед. <i>stiefmorsfioler</i>	рус. диал. <i>мачимачиха</i>
	фин. <i>äitipuolenkukkane(n)</i>
(fiol ‘фиалка’, здесь pl.)	“цветок мачехи dim.”

для окраски тканей в **ярко-красный цвет**. Ср. лтш. *madaras* ‘*Galium boreale*’, др.-в.-нем. *matarā*, швед. *mådre*, эст. *madre*, рус. *подмаренник* с тем же значением. Вероятнее всего, растение получило наименование по месту произрастания в болотистых, влажных местах, никакой связи с ‘синий’ здесь нет (трава имеет белые или желтые цветы).

3. В германских языках корень **madro* фиалку не обозначает. Мотивы переноса наименования с блеклого болотного растения на яркий цветок контрастной окраски неясны.

4. В итальянском языке тип номинации цветка “крестная мать” не обнаружен. Вряд ли стоит объяснять единичное английское *godfathers and godmothers* влиянием межъязыковой паронимазии *madro/mātrīna*.

5. Процесс многократного “неверного перевода” с предполагаемого лангобардского оригинала текстуально не подтверждается.

Основное же, по нашему мнению, заключается в том, что В. Кругманн полностью отвлекается от концепта двойственности в названии цветка, безусловно связанного с его окраской (яркой желто-фиолетовой). Особенно отчетливо идея совмещенности двух противоположных признаков прослеживается в метафорических номинациях типа: *мачимачиха*, *Schwiegermutter und schwiegertohter*, *brat i siostra*.

Подойдем к материалу с другой стороны, исследуя названия не только этого, но и других растений, обладающих чертами контраста (акцент делался на анатомическом строении и окраске). В поле зрения оказываются следующие ботанические виды: 1) VT, 2) *Melampyrum nemorosum* (MN), 3) *Tussilago farfara* (TF). В русских народных говорах все они перекрестно называются *мачеха*, *мать-и-мачеха*, *иван-да-марья*, *брат-и-сестра*. Рассмотрим подробнее каждый из этих типов на материале русского и соседних языков (славянских, балтийских, эстонского).

1. “МАЧЕХА” (“СИРОТА”/“ВДОВА”)². Основные данные относительно этого типа для VT представлены у В. Кругманна. Дополним предлагаемый им список наименованиями других растений. В русских говорах *мачехой* называют исключительно TF.

Свидетельства этого многочисленны: *мачеха* (перм., новг., пск., казан.) **Ан.:** 336, (волог., яросл., костр., вят. и др.) **СРНГ**, *мачешник* (вологод., сев.-двин., уральск.) **СРНГ**, *мачехино лицо* (укр.) **Ан.:** 336, *мачехин лист* (петрозав., олон.) **СРНГ**.

В травнике XVIII в. рассказывается о траве *мачиха*: “<...> растет лапушником, одна сторона бела, а другая — зелена” (**Флор.:** 6). По описанию угадывается TF. Очень разнообразен спектр подобных названий в эстонском языке, где они обозначают одновременно VT (и близкие ей разновидности) и TF: VT (**Vil.;** **TKV**) *aiavõerasemad* “садовые мачехи”; *emak* “мачеха, приемная мать”; *kasuema* “приемная мать”; *võerasema* “мачеха”; *voirasema* “мачеха”; *võorasema* “мачеха” (‘*V. arvensis*’); *võorasema* “мачеха” (‘*V. wittrochiana*’); *võerasedalilled* “мачехины цветы”; *stifmutter*, *stihhmutter*, *tihhmutter* (ср. с нем. *Stiefmutter*, “мачеха”); *ämmak* “мачеха”; *ämmakulats* “мачехин ребенок”; *keoorvik* “кукушкина сирота dim.”; *käoorv* “кукушкина сирота”; *käoorvik* “кукушкина сирота dim.”; *vaenelaps* “сирота” (‘*V. arvensis*’); *vaenelapselill* “цветок сироты”; *orvik* “сирота dim.” (‘*V. arvensis*’); TF (**Vil.;** **TKV**) *võerasemalehed* “мачехины листья”; *võorasimä* “мачеха”; *ämmakulats* “мачехин ребенок”; *ämmakuleht* “мачехин лист”; *ämmaleht* “лист свекрови”; *vaeselapsed* “сироты”; *vaeste laste lehed* “листья сирот”; *vaeselapseleht* “лист сироты”; *leseleht* “лист вдовы”.

Список В. Кругманна для VT можно дополнить славянским и балтийским материалом: чеш. *macoška*, *maceška* **Ан.:** 382, **Kr.:** 525; луж. *maceška*, *macoška*, *macuška* **Ан.:** 382; словен. *mačeha*, *mačuha* **Kr.:** 525; лтш. *patātīte* “мачеха dim.”; чеш. *sirotika*, *sirotiky* **Ан.:** 382, **Kr.:** 525; с.-х. *sirotika* **Ан.:** 382; луж.

² Здесь и далее в круглых скобках даются второстепенные номинационные типы.

sirotka Ан.: 382; лтш. *sērdienīte* “сирота ж. р. dim.”; лит. *našlaitės* “сироты/вдовы”; *našlaitės gėlės* “трава сироты/вдовы”; самогит. *naszlelie* “трава вдовы” Ан.: 382.

2. “МАТЬ И МАЧЕХА”. Этот тип можно назвать специфически русским. Он не зафиксирован ни в одном географически близком или далеком языке. Его яркий метафоризм издавна побуждал филологов к поэтическим толкованиям. Почти во всех русских диалектах *мать-и-мачеха* (*цвет мать-и-мачехин*) относится исключительно к TF (под таким же названием TF известно в литературном русском языке.) Однако есть свидетельства употребления этой же фонетической формы для обозначения VT, *Melampyrum arvensis* (разновидности близкой MN) и некоторых других ботанических видов: *мачимачиха* (пск.) ‘VT’, СРНГ; *мать-и-мачеха* (ворон.) ‘*Melampyrum arvensis*’, СРНГ; *мать-и-мачеха* (вят., казан. и др.) ‘*Petasite spurium*’, СРНГ; *мать-и-мачеха* (без пометы) ‘*Plantago major*’, СРНГ.

Два последних растения (подбел войлочный и подорожник большой) получили свои наименования также по причине неоднородности строения листа (в первом случае: зеленый и гладкий ↔ белый и пушистый, во втором — гладкий ↔ ребристый).

3. “ИВАН-ДА-МАРЬЯ” является русским литературным наименованием MN. Особенно популярно в Рязанской и Псковской областях [Гришина 1959: 217; Еремина 1962: 194]. Издавна такое же название применялось к фиалке трехцветной, что отражено в книге по фитоэмблематике, относящейся к середине прошлого столетия (Яз.: без пагинации), а также в [Вержбицкий 1898: 412], но потом оно вышло из употребления по причине омонимии. По сообщению (БЕ, 24: 769), название *иван-да-марья* относится также к *Orchis maculata*, имеющему бледно-лиловые или беловатые цветы, испещренные бурыми пятнами, и *Ajuga genevensis*, известному контрастной окраской белых прицветников и синих венчиков. В ряде случаев номинационная формула “мужское имя собственное + женское” допускает подстановку: *иоанн-и-марья*

(без пометы) 'MN', А.-М.: 98; *иоаким-и-анна* (нижегор.) 'MN', Ан.: 211; *адриан-и-мария* (без пометы) 'MN', Ан.: 211.

4. "БРАТ-И-СЕСТРА". Тип этот получил очень широкое распространение в западно- и южнорусских говорах, в Белоруссии, Полесье, на Украине, в Польше. Называет преимущественно MN и VT. Очень часто территориально соседствует с *братки*, *братики* и подменяется ими: *брат-и-сестра* (зап.-рус.) 'MN', Ан.: 211; *брат-с-сестрой* (смолен., могил., укр.) 'VT', Ан.: 382; *брат-сестра* (белор.) 'MN', Ан.: 211; *brat z siostrą* (польск.) 'VT', Ан.: 382; *brat u siostra* (польск.) 'VT', Ан.: 382; *siostra i brat* (польск.) 'VT', [Sobotka 1879: 247]; *братки* (подол., могил., русин.) 'MN', Ан.: 211; *братики* (юж.-рус.) 'MN', Ан.: 211; *bratki* (польск.) 'MN', Ан.: 211; *braciszki* (польск.) 'MN', Ан.: 211.

По причинам, которые будут изложены ниже, хотим привести здесь еще одну характерную модель, до сих пор не упоминавшуюся.

5. "ДЕНЬ И НОЧЬ". На русской территории эта "западная" разновидность крайне редка. Единственный пример такого рода зафиксирован Н. И. Анненковым в бывшей Гродненской губернии, что легко объясняется заимствованием из польского. Ср.: нем. *Tag und Nacht* "день и ночь" 'VT', Ан.: 211; нем. *Tag und Nacht Kraut* "трава дня и ночи" 'MN', Ан.: 211; норв. *natt og dag* "ночь и день" 'VT' Berg: № 396; польск. *dzień i noc, nocydzień* 'MN', Ан.: 211; чешск. *den-a-noć* 'MN', Ан.: 211; луж. *noc-a-zeń* 'MN', Ан.: 211; с.-х. *дан и ноћ* 'VT', Ан.: 211.

Как видно из перечисленных примеров, одна и та же идея совмещенности противоположных признаков может быть метафорически выражена: (1) через термины родства или наименования семейно-социального статуса (*мачеха*, *сирота*, *вдова*, *сестра*, *брат* и др.), (2) через антонимическую пару, обозначающую противоположные фазы суток (*день*, *ночь*), (3) посредством сочетания личных имен (женского и мужского), функционально допускающих субституцию (*Иван/Адриан/Иоани/Иоаким* + *Марья/Анна*). В последнем случае имя лишено конкретно-личностного содержания, но выступает как

обобщенный символ пола. Использование для выражения идеи дуализма терминов, определяющих положение члена социума в структуре родоплеменных отношений, имен-символов и астрономических понятий указывает на архаический характер подобной номинации. Как кажется, имеются все основания, чтобы связать ее возникновение с реконструируемым Вяч. Вс. Ивановым и В. Н. Топоровым так называемым близнецным мифом, следы которого обнаруживаются в обрядности, сопровождающей празднование дня Ивана Купалы. “В основе мифа, реконструируемого по многочисленным купальским песням и другим фольклорным текстам, лежит мотив кровосмесительного брака брата с сестрой [ср. с названием *брат-и-сестра* — А. III.], воплощенных двуцветным цветком *иван-да-марья*, важнейшим символом купальских обрядов; желтый цвет воплощает одного из них, синий — другого. В одном из вариантов мифа брат собирается убить сестру-соблазнительницу, а она просит посадить цветок на ее могиле” (Мифы II: 29), в другом случае брат убивает сестру, от горя погибает и сам, оба превращаются в двояко окрашенный цветок [Иванов, Топоров 1974: 224–225]:

А. Пойдем, сястра, на поле,
 Рассеямя абое.
 З мяне будзець жоўты цвет,
 З тябе будзець сині цвет.
 Будуць дзеўкі краскі рваці,
 Брата з сястрой поминаці,
 Гэта тая травица
 Што брацеіка с сястрицай.

В. Зацветем-ко мы, братец,
 С тобою красочками:
 Ты синим цветом, а я желтеньким
 Ты будешь Иваном, а я Марьей.

Эти же ученые считают, что данный сюжет кровосмесительного брака брата и сестры (первоначально близнецов: либо гермафродитов, либо разнополых) относится “ко времени, предшествующему славянскому”. “Сам сюжет об инцесте в своей древней форме истолковывался как **воплощение в мифе взаимодействующих основных полярных противоположностей — огонь/вода и т.п.**” (Мифы: II, 29). По А. Н. Веселовскому, купальская обрядность имеет ту же мифологическую основу, что и греческие и итальянские Адонии, а

именно воплощает идею смерти и возрождения “светлого Бога”. При этом основными коррелятивными парами являются: **эротика ~ смерть, свет ~ мрак** [Веселовский 1894: 287, 314]. Элемент *Марья*, как название одного из двух главных начал, связывается с *Марой* (а на основе лингвистического анализа тождества корней *mer/mog со смертью, водой), а элемент *Иван* рассматривается как заместитель *Купалы* (отождествляется с *Ярилой, Юрием*) — божества, связанного с жизнью и огнем [Иванов, Топоров 1974: 230]. Таким образом, можно восстановить два антиномических ряда, тесно связанных между собой идеей единства противоположностей:

+	-	+	-
день	ночь	брат	сестра
жизнь	смерть	мужской	женский
огонь	вода	Иван	Марья
голубой	желтый		

Названия растений MN и VT *иван-да-марья, брат-и-сестра, день-и-ночь* хорошо укладываются в данную систему бинарных оппозиций, служившую на этапе дуалистического мировосприятия классификационной сеткой, под которую подводились все явления окружающей действительности. “Дуальная социальная организация древнего индоевропейского общества <...> накладывает глубокий отпечаток на характер всей духовной жизни древних индоевропейцев и определяет бинаризм, двоичность во многих основных сферах религиозных и мифологических представлений и некоторых черт модели реального мира. В этой связи прежде всего можно сослаться <...> на **двоичность классификации животного и растительного мира**” (Мифы: II, 776). Теоретически для растений с ярко выраженной двойственностью (особенно в окраске цветка) можно предположить наличие лексических образований типа: *огонь-и-вода, жизнь-и-смерть* и т. д. Брачная символика фиалки трехцветной и марьяника обыкновенного хорошо известна у многих народов [Золотницкий: 1991]. Она могла развиться еще в период индоевропейской древности, когда при установлении брачно-родственных отношений каждый представитель рода соотносил себя с одной половиной (т.е. полом)

племени; соединение в браке мыслилось как слияние этих двух половин, ведущее к целостности бытия, исполненности жизненной силой (**Мифы**: II, 779–780). Двуокрашенный цветок как нельзя лучше подходил для манифестации такого рода интенционального значения. На лингвистическом уровне наличие брачной семантики в названии VT просматривается, в частности, в русском наименовании *полуцвет* (Ан.: 336) (из праслав. *roľь ‘половина’ / ‘пол ж., м.’) и лужицком *sparik* (от *spariti* ‘соединять в пары’).

Теперь вернемся к статье Вилли Крогманна и нашим спискам. Исходя из современных представлений о мире, трудно видеть в данной модели скрытый бинаризм (в первую очередь имеем в виду однолексемные названия), тем не менее он здесь завуалированно присутствует. И впервые на это обратил внимание цитируемый В. Крогманном Якоб Гримм в рецензии 1836-го г. на издание Сборника Клоца [Grimm 1864–1890: V, 238–240]. Анализируя средневековые изображения и тексты старинных хроник, баллад, он делает вывод о существовании в древности обычая маркировать двойственный семейно-социальный статус при помощи **двуокрашенной или разноцветной одежды**. В первую очередь, это правило распространялось на такие разряды, как: **незаконный брак, незаконное рождение, неродственные отношения в рамках семьи, а также сиротство и вдовство**. В 26-ой главе хроники “Gesta Romanorum” Я. Гримм обнаружил текст наставления одного короля своему пасынку (“der seinem unechten Sohn”) о правилах этикета, принятых в отношении одежды: “Если [человеку] надо окрасить свою одежду [т.е. маркировать ею свой статус в семье и обществе], следует одну ее половину сделать роскошной, другую оставить скромной” [здесь и далее в статье перевод наш — А. III.]. В “Reali di Francia” содержится рассказ о Роланде, появившемся на свет от незаконной супружеской связи Берты, сестры Карла Великого, и некоего Мило. Будучи ребенком, Роланд носил одежду, выкрашенную в разные цвета (“buntfärbiges Kleid trägt”). На одной из старинных немецких миниатюр сводные братья (сёстры? брат с сестрой? — “Halbgeschwister”) изображены в пестрой одежде (“buntgekleidete”).

В староанглийской балладе Перси III рассказывается о тайном браке французской принцессы с фландрийским лесничим Балдуином. Всех детей от этого брака отец приказал одевать в платье, наполовину тканное золотом, наполовину шерстяное. Чарльз Брэндон, рядовой дворянин, женившись на овдовевшей королеве Франции, сестре Генриха III Английского, вскоре после этого события появился на турнире, восседая на лошади, попона которой была наполовину златотканой, наполовину фризовой. Перечисление этих исторических фактов Я. Гримм подытоживает фразой: “Ребенок, потерявший родителей, оказывался стоящим вне рода, равно как и разведенная супруга, вытесненная из семьи; духу “чувствительной” старины вполне соответствовало то обстоятельство, что цветная одежда ее выявляла и ее называли *die Bunte* (“цветная”)” [там же: 240]. В этом средневековом обычае; как утверждает тот же автор, коренится основание переносного названия желтофиолетового цветка *Viola tricolor* в итальянском *suocera e nuora* (“свекровь и невестка”) и в немецком *Stiefmütterchen* (“мачеха *dim.*”). С этим заявлением трудно не согласиться, при условии если эта традиция, действительно, была распространена не только среди высших социальных слоев и если она не просто маркировала нарушение нравственных норм. Как известно, и в наши дни внешнее тождество близнецов порой стремятся подчеркивать абсолютно идентичной одеждой, что является бессознательным следованием тому же архаическому правилу. На Руси типичной одеждой вдов считался темный сарафан, такого же цвета платок и белая сорочка. Таким образом, и здесь мы имеем сочетание двух контрастных цветов: темного (черного) и белого. С другой стороны, абстрагируясь от гриммовской гипотезы, можно предположить, что на этапе, когда родо-племенные связи определяли социально-правовые отношения, а браки осуществлялись преимущественно между представителями двух кланов, особую актуализацию в сознании получает оппозиция “свое—чужое”, сопряженная с оценочностью по шкале “доброе—злое”. Очевидно, что такие члены общества, как мачеха, вдова, сирота, невестка и др., являются носителями двух разнородных признаков, один из которых находит понимание и поддержку общества, другой

оценивается отрицательно. Напр., **мачеха** является матерью приемного ребенка юридически (+), но не биологически (-); всегда подозревается в злом умысле по отношению к сироте; **вдова** самостоятельная хозяйка в доме (+), но лишена защиты со стороны мужа (-); **сирота** обладает внешней личной свободой (+), но на деле целиком зависит от опекунов и покровителей (-).

Попытаемся связать возникновение перечисленных наименований с историческими фазами развития человеческого сознания. Как кажется, здесь мы имеем дело, условно говоря, с тремя типами сознания: мифологическим, фольклорным, бытовым, которым соответствуют три типа представлений об экзистенциальной природе дуализма, и с тремя системами символов, посредством которых эти представления могут актуализироваться в процессе порождения имен. Как уже говорилось выше, для первого типа сознания характерно наложение сетки бинарных оппозиций на все явления бытия, особенно сильным является противопоставление по признаку пола. Называние осуществляется через указание на персонажей мифа — божественных близнецов, небесных брата и сестру. В реальности устойчивость такой модели до определенного момента поддерживается системой эндогамии, кросскузенных браков, в период сакрального времени — полной свободой сексуальных связей (ср., например, с игрищами на Ивана Купалу, **Слав.:** 215–216). Емкость символа допускает субституцию его составляющих с сохранением признака противопоставления (*брат, Иван, день ↔ сестра, Мария, ночь*).

На этапе распада мифа в качестве героя выдвигается социально обездоленный, бесправный, униженный тип (таковы, в частности, бедные падчерицы, сироты, неродные дети в волшебных сказках и — позже — вдовы в христианских легендах и апокрифах). По Е. М. Мелетинскому, фольклорно-сказочное сознание пытается преодолеть антиномию “жизнь—смерть” посредством нахождения т. н. медиаторов — **героев, сочетающих признаки полюсов** (социальная подоплека рассмотрена выше) [Мелетинский 1977: 23–41]. “Сказочный герой не имеет тех магических сил, которыми по

самой своей природе обладает герой мифологический. Он эти силы должен приобрести в результате инициации, шаманского искусства, особого покровительства духов” [там же: 32]. Именно эти амбивалентные персонажи (сирота, падчерица, вдова и пр.) становятся символическими выразителями того же концепта, но в новых культурно-исторических условиях. Народное фольклорное сознание связывает с ними представление о последнем месте на социальной лестнице, с одной стороны, с другой — идею о чудесном знании, духах-покровителях, неожиданном богатстве и, в конечном счете, — возвышении. Не удивительно в этой связи, что при выборе названий для VT, TF и MN ассоциации выстраивались в указанном направлении.

Мачеха как персонаж сказок, противостоящий сироте, возникает на этапе разложения рода, в условиях эндогамии, “при добывании невест слишком издалека” [там же: 33], т.е. уже достаточно поздно. Актуализация категориальной оппозиции “свое—чужое” (“свой клан—чужой клан”) приводит к появлению наименований типа “свекровь и невестка”, где ‘свекровь’ = ‘мачеха’.

В новое время мотивировки, генетически связанные с указанным комплексом фольклорно-мифологических представлений, полностью затемняются. Бытовое сознание видит оппозицию “доброе—злое” все в тех же родственных отношениях — ср. с рус. *мать-и-мачеха*, но при этом компонент *мачеха* лишается фольклорных коннотаций. На смену первичным названиям приходят вторичные, метонимически из них вытекающие, по-прежнему отражающие семантику родства, иногда факультативно — оппозицию по признаку “мужской—женский” (таковы эст. *vana emakene* “бабушка”, *emakobraleht* “лопух матери”, польск. *bratki*, англ. *godfathers and godmothers* “крестные отцы и крестные матери”). Единичность таких случаев только подтверждает их инновационный характер.

СПИСОК СОКРАЩЕННЫХ НАЗВАНИЙ СЛОВАРЕЙ И БОТАНИЧЕСКИХ СПРАВОЧНИКОВ

Berg — Berg G.A. Floraen i fargen. Oslo, 1970; **Fr.** — Fraenkel E. Lituanisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, Göttingen, 1962–1965; **Kar.** — Karulis K. Latviešu etimoloģijas vārdnīca. Rīga, 1992; **Kl.** — Kluge F. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Berlin, 1967; **Mach.** — Machek V. Etymologický slovník jazyka českého. Praha, 1971; **Mül.** — Müllenbach K. Latviešu valodas vārdnīca. Rīga, 1923–1932; **Pok.** — Pokorny J. Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch. Bern, München, 1959; **TKV** — Tammeorg J., Kook O., Vilbaste G. Eesti NSV ravimtaimed. Tln., 1984; **Vil.** — Vilbaste G. Eesti taimenimetused. Tln., 1993; **WH** — Walde A., Hofmann J. B. Lateinisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1962–1975; **A.-M.** — Амбодик-Максимович Н. Новый ботанический словарь на латинском, немецком и русском языках ... СПб., 1804; **Ан.** — Анненков Н. И. Ботанический словарь. СПб., 1878; **БЕ** — Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Энциклопедический словарь. СПб., 1890–1907; **Ми-фы** — Мифы народов мира. М., 1987; **Слав.** — Славянская мифология: Энциклопедический словарь. М., 1995; **СРНГ** — Словарь русских народных говоров. М.; Л. (СПб.), 1965 — ; **Флор.** — Флоринский В. М. Русские простонародные травники и лечебники. Казань, 1879; **Яз.** — Язык цветов. СПб., 1849.

ЛИТЕРАТУРА

- Вержбицкий Т. И. 1898. — Некоторые лекарственные растения, употребляемые простым народом в Курской губернии // Живая старина. Т. 8. Вып. 3–4. Санкт-Петербург.
- Веселовский А. Н. 1894. — Гетеризм, побратимство и кумовство в купальской обрядности // Журнал Министерства народного просвещения. № 2. С. 287–319.
- Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. 1984. — Индоевропейский язык и индоевропейцы: В 2 т. Тбилиси.
- Гришина И. П. 1959. — Из диалектной лексики флоры Рязанской области // Вопросы грамматики и лексики. Рязань / Уч. зап. Рязанского ГПИ. Т. 25.
- Еремина Е. И. 1962. — Опыт диалектологического изучения флоры Псковской области // Псковские говоры. Псков.
- Золотницкий Н. Ф. 1991. — Цветы в легендах и преданиях. Москва.

- Иванов Вяч. Вс., Топоров В. Н. 1974. — Исследования в области славянских древностей. Москва.
- Иллич-Свитыч В. М. 1957. — [Рец.] V. Machek. Česká a slovenská jména rostlin // ВЯ, № 2.
- Мелетинский Е. М. 1977. — Миф и историческая поэтика фольклора // Фольклор: Поэтическая система. Москва. С. 32–42.
- Grimm J. 1864–1890. — Kleinere Schriften: Im 8 Bd. Berlin.
- Krek G. 1887. — Einleitung in die slavische Literaturgeschichte. Graz.
- Krogmann W. 1954. — Stiefmütterchen // Suomalaisen tiedeakademian toimituksia. Sar. B. Nid. 84. Helsinki.
- Sobotka P. 1879 — Rostlinstvo a jeho význam v národních písních, bájích, obřadech a pověrách slovanských. Praha.

WAYS OF EXPLICATION OF THE BINARISM IN THE NAMES OF THE WILD PLANTS

S u m m a r y

The article deals with the duality involved in the names of the flowers revealing duality in their structure and colouring (VT, MN, TF). On the basis of smaller linguistic data, this problem was examined as to VT, by V. Krogmann, but was not decisively solved. A. Šteingolde distinguishes 3 major semasiological schemes of producing such names: 1) terms of family relationship ('stepmother', 'widow': Pol. *maceška*, Est. *orvik*); 2) the opposition of two proper names (one — male, the other — female: Rus. *Ivan-da-Marja*); 3) the opposition of two astronomic terms — *day* and *night* (Ser.- Cr. *дан и ноћ*). Regarding achievements of V. V. Ivanov, V. N. Toporov and T. V. Gamkrelidze, the author accounts for the last two types considering so-called **Twins-myth**. The matter requires more profound treatment, supposing they originate in chronologically separated stages of human mental evolution gradually actualising the following oppositions: "male/female", "native/alien", "kind/evil".

БЕЗГЛАГОЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В СВЕТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЯЗЫКОВЫХ УРОВНЕЙ

В. П. Щаднева

Абсолютизация традиционного уровневого членения языка и, как следствие такой абсолютизации, недостаточно чёткие представления о единицах и категориях, связанных с разными ярусами, дают основания для некоторого лингвистического пессимизма и даже для отрицания уровневой дифференциации. Однако как абсолютизация уровней, так и отрицание последних — это крайности, которые не могут способствовать познанию объекта лингвистической науки — языка. Природа этого объекта такова, что в нем все теснейшим образом переплетается и взаимодействует. Очевидно, что не сам язык членится на уровни и, далее, на языковые единицы: это деление осуществляют лингвисты в познавательных целях (напомним, что еще А. М. Пешковский писал: “Язык не составляется из элементов, а дробится на элементы” [Пешковский 1929: 52]). Иными словами, идея иерархического устройства языка должна рассматриваться не как самоцель, а как необходимая научная абстракция, способствующая изучению лингвистических фактов и помогающая их классификации.

Сопротивление реального языкового материала однозначной трактовке, наличие большого количества маргинальных областей естественно порождают проблему взаимосвязи уровней. Именно выявление взаимосвязи и взаимодействия равноуровневых единиц, как представляется, позволяет преодолеть жесткие рамки концепции “уровней языка”.

В первую очередь сказанное относится к тем маргинальным областям, которые допускают различную трактовку в зависимости от исходных позиций исследователя. К таким языковым феноменам можно отнести, в частности, структуры с имплицитными компонентами, то есть синтаксические единицы с невербализованным значением (в их число входит и

объект нашего исследования — т.н. безглагольные предложения). В разные периоды развития лингвистики к ним проявляли разный интерес: то они оказывались в центре внимания ученых, то на периферии. Крайнее разнообразие структур, связанных с этой проблематикой, их удивительная полифункциональность, естественно, приводят к тому, что различные их виды оказываются исследованными в разной степени. Неравномерно разрабатываются и частные аспекты. Поэтому говорить в данном случае не только об уже сложившейся **обобщающей** концепции, но и даже о едином подходе еще рано, тем более что до сих пор имманентная структура предложения изучается в синтаксисе без достаточного учета перехода современной лингвистики к рассмотрению целостных структур более высокого порядка. По сути дела, синтаксическая наука только подошла к осознанию того факта, что “в реальной речевой ситуации говорящие имеют дело не с отдельными изолированными предложениями, равными минимальной коммуникативной единице языка, а с высказываниями, неразрывно связанными со словесно-смысловым контекстом (монологическим или диалогическим)” [Онипенко 1994: 74]. Прекрасной иллюстрацией к приведенной цитате является хрестоматийно известная всем филологам-русистам фраза *Татьяна в лес*. В научной литературе эта синтаксическая конструкция обычно приводится без контекста, поскольку рассматривается как автосемантическое предложение со значением интензивного перемещения. Однако не является ли приписываемая этому предложению самодостаточность следствием того, что синтагматика данной фразы знакома филологу со школьной скамьи? Ведь аналогичные поверхностные структуры в контексте могут быть лишены семантики интензивности, например: *Вовка в школу, Я — за ним, Я в башню, Она за ним* в следующих литературных иллюстрациях:

1. *Утром Маша с Верой уходили в госпиталь, а Вовка — в школу* (И. Грекова. Хозяйка гостиницы).

2. *Они (куры — В. Щ.) разгуливают, заглядывают по углам, собирают какие-то крохи, подходят к бабушке, к его ногам, обутым в подшитые валенки, вывертывают головы, как бы гадая, можно или нет проходить в таких валенках*

зиму. Дедушка вздохнул и пошел в свою комнатенку. **Я — за ним.** Жалко дедушку! (А. Васильев. Зарницы).

3. Броневичок оказался еще ближе, чем думал Артемьев. Через сто шагов водитель остановил их окриком: “Стой!” — и лязгнул затвором.

— Это я, капитан Артемьев.

— А я уж беспокоился за вас, товарищ капитан, думал — что за выстрелы?

— По дороге расскажу. Помогите посадить к вам пленного.

— А вы?

— **Я в башню.**

Бесчувственного японца втащили в броневичок и посадили рядом с водителем. Артемьев полез в башню (К. Симонов. Товарищи по оружию).

4. Зоя иногда через плечо туда (в книги по специальности — В. Щ.) заглядывала: теперь, когда она кое-чему выучилась, не поймет ли она, о чем читает Гарусов? Нет, не понимала. А главное, Зоя чувствовала: пока она с треугольниками, Гарусов тоже не дремлет, еще что-то выучивает и уходит все дальше. **Она — за ним, он — от нее, и не догнать...** (И. Грекова. Маленький Гарусов).

Кроме того, лишь в рамках соответствующих контекстов выясняется, что за синтаксическим нулем, имеющим место в приведенных безглагольных конструкциях, стоит совершенно разная лексическая и грамматическая (морфологическая) семантика: 1) *уходил* — прош. вр., НСВ; 2) *пошел* — прош. вр., СВ; 3) *залезу* — буд. вр., СВ; 4) *идет* — наст. вр., НСВ. В последнем примере невербализованный глагол движения имеет не прямое значение, а переносное, что выясняется лишь в дискурсе.

Поэтому целесообразно рассмотреть интересующую нас поверхностную структуру *Татьяна в лес* не изолированно, а в контексте. Приведем его с некоторыми сокращениями:

XII

.....
Но вдруг сугроб зашевелился,
И кто ж из-под него явился?
Большой, взъерошенный медведь;
Татьяна ах! а он реветь,
И лапу с острыми когтями
Ей протянул; она скрепясь
Дрожащей ручкой оперлась
И боязливymi шагами
Перебралась через ручей;
Пошла — и что ж? медведь за ней!

XIII

Она, взглянуть назад не смея,
Поспешный ускоряет шаг
Но от косматого лакея
Не может убежать никак;
Кряхтя, валит медведь несносный;
Пред ними лес...

.....
Дороги нет; кусты, стремнины
Метелью все занесены,
Глубоко в снег погружены.

XIV

Татьяна в лес; медведь за нею;
Снег рыхлый по колено ей...

Имманентная структура выделенной пушкинской фразы не дает, на наш взгляд, никаких оснований для того, чтобы усматривать в ней очень быстрое, стремительное перемещение. Эта структура воспринимается нами как носитель семантики интенсивного действия в силу того, что пре- и пост-позитивный контекст готовит нас именно к такому восприятию. Специфика этого контекста заключается, прежде всего, в том, что он представляет собой изобразительный ряд, в котором реализуются две параллельные цепочки быстро сменя-

ющих друг друга действий двух разных субъектов (цифрами обозначена последовательность действий в тексте):

медведь	Татьяна
1) явился	2) ах!
3) реветь	
4) (лапу) протянул	5) оперлась
	6) перебралась
	7) пошла
8) Ø (=пошел)	9) ускоряет шаг
	10) не может убежать
11) валит	12) Ø (=бросается) в лес
13) Ø (=бросается) за нею	

Обращает на себя внимание постепенное нарастание интенсивности перемещения: сначала Татьяна “идет”, затем “ускоряет” шаг, пытается “убежать”. Пиком динамичности оказывается относящийся к медведю стилистически маркированный глагол “валит”. И лишь тогда появляются две соседствующие однотипные структуры со значением интенсивного движения. При этом примечательно сопоставление двух случаев употребления поверхностной структуры *Медведь Ø за ней (нею)*: смысловое наполнение нулевого синтаксического знака в первом и втором случае не совпадает, поскольку для каждой из двух реализаций ближайший препозитивный контекст закладывает свою (разную) синтаксическую базу.

Цепочка перечисленных ранее действий-событий (в совокупности с описанием угнетающей обстановки и мрачного места действия, на фоне которых разворачиваются события) создаёт картину экстремальной ситуации, связанной с реакцией одного субъекта на действия другого. Тем самым уже изначально заложенная в контексте идея параллелизма оказывает определенное инерционное воздействие на выбор структуры последующих предложений. Здесь уместно напомнить, что “фактически за предложением как таковым скрываются два различных понятия: обобщенный и н в а р и а н т, существующий в сознании носителя языка, и конкретный в а р и а н т,

представленный в данном тексте” [Норман 1994: 124]. Инерционное воздействие контекста, на наш взгляд, сказывается не только на речевой реализации синтаксических моделей, равных тому или иному инварианту, но и на реализациях подмоделей (вариантов).

Текстуально обусловленный безглагольный вариант с невербализованным значением действия — перемещения в условиях типового контекста, т.е. контекста, который и сам строится по определенному образцу (шаблону, модели), приобретает добавочное значение: коннотацию экспрессии. Напомним ставшую аксиомой мысль о том, что частные значения слова проявляются лишь в предложении, иными словами, лексема, становясь словоформой (синтаксемой), может менять своё значение в зависимости от ближайшего синтаксического окружения, т.е. от специфики конкретной синтагматической цепи, образующей внутренний контекст предложения. Опираясь на принцип изоморфизма, мы можем сделать аналогичный вывод и в отношении предложения, т.е. единицы, стоящей рангом выше слова. И это априорное умозаключение согласуется с данными нашего текстуального анализа: в текстовой реализации предложения не только уточняется семантика отдельных составляющих его внутренней структуры, но и уточняется смысл предложения в целом, выявляются смысловые приращения (например, интенсивности и экспрессивности).

Следует особо отметить попарное объединение разносубъектных структур, которое встречается три раза: а) *Пошла — и что ж? медведь за ней!* б) *Татьяна в лес; медведь за нею;* в) *Она бежит, он все вослед...* Подобное эмоционально-направленное противопоставление или сопоставление действий разных субъектов, осуществляемое приемом синтаксического параллелизма, довольно регулярно сопровождается безглагольным оформлением структур, причем нанизывание однотипных безглагольных вариантов, усиливая степень экспрессивности, уже и само по себе создает картину экстремальной ситуации, сведения о которой могут или перемежаться с цепочками безглагольных структур (как в отрывке из сна Тать-

яны и в примерах 6 и 7), или же подаваться в виде чисто фоновой информации, как в следующей иллюстрации:

5. — *А, так ты с ним заодно? — впадая в гнев, прокричал Иван, — ты что же это, глумишься надо мной? Пусти!*

Иван кинулся вправо, и регент — тоже вправо! Иван — влево, и тот мерзавец туда же (М. Булгаков. Мастер и Маргарита).

Сказанное относится не только к текстам, уже причисленным к литературной классике, но и к современным художественным, газетно-публицистическим и разговорным текстам, в которых содержится эмоциональное повествование о событиях, имевших место в прошлом. Ввиду того что наши иллюстрации достаточно объемны, ограничимся двумя примерами:

6. *Вдруг меня кто-то как схватит за ногу! Я как закричу! Выскочил из-под стола, а Валя за мной!*

— *Что ты? — спрашивает.*

— *Меня, — говорю, — кто-то схватил за ногу. Может быть, серый волк?*

Валя испугалась и бегом из комнаты. Я — за ней. Выбежали в коридор и дверь захлопнули (Н. Носов. Затейники).

7. — *Пожар! — вскрикнула Елена.*

— *Горит! Мать пресвятая богородица! — Это Дивора. Схватила икону и ну по углам с ней, как курица с яйцом.*

Павел прихватил дедушку — и на двор. Рядом горел дом Чухонцева. Пламя тянет в нашу сторону. Дедушка за ведро и — к кадушке с водой (А. Васильев. Зарницы).

Нередко начальный экспрессивный заряд побуждает автора к использованию безглагольных вариантов, относящихся к разным инвариантным структурам различной семантики. И хотя в наши задачи не входит оценка художественных достоинств приводимых примеров, отметим, что безглаголие может оказаться слишком навязчивым и стать приметой авторского стиля. Приведем небольшой отрывок из такого художественного текста:

8. *Это Василий сбил меня с ног. Выскочил из комнаты и прямо на меня. Опрокинул — и в сени. Смотрю: из сеней во двор. Михаил за ним. Что же дальше-то будет? Вижу: Ва-*

силый махнул через плетень, Михаил — за ним. На бегу — пистолет из кобуры и выстрелил, сначала вверх и сразу — другой выстрел. Это уж Василий. Откуда у него пистолет взялся? Михаил пригнулся и еще раз... (А. Васильев. Зарницы).

Приведенный фактический материал, конечно же, заслуживает подробного комментария, однако целесообразнее уточнить основные моменты, непосредственно связанные с целью данной работы.

Интенсивно-экспрессивное осмысление безглагольного предложения не присуще его имманентной минимальной структуре, а становится возможным в условиях типового экспрессивно-повествовательно-изобразительного контекста, отражающего эмоциональный настрой субъекта-героя (героев). Хотя понятие типового контекста в определенной степени еще базируется на интуитивных представлениях о его параметрах, очевидно его стимулирующее влияние на выбор тех или иных конкретных реализаций (моделей и подмоделей). Кстати, понятие типового контекста, обслуживающего типовые ситуации, в некоторой мере пересекается с понятием фрейма, которое с недавних пор стало использоваться в эллиптологии (см., например, работу А. Л. Факторовича [1991]).

Несмотря на то что подвиды интересующего нас типового контекста изучены недостаточно, а его инерционная и проективная роль еще должным образом не оценена, уже можно говорить, по крайней мере, о двух его подвидах. Первый подвид такого экспрессивного контекста и представлен в пушкинском отрывке, а также в примерах 5, 6 и 8. Второй же подвид базируется не на чередующихся действиях разных субъектов, что создает две параллельные цепочки синтаксических единиц, а на более или менее распространенном нанизывании последовательных и, как правило, интенсивных действий одного субъекта. Эти действия-предикаты (вербализованные + невербализованные) могут быть поданы и в рамках цепочки отдельно оформленных простых предложений, и в рамках открытых однородных рядов внутри сложного предложения. Поскольку подобные синтактико-смысловые комплексы доста-

точно автономны, иллюстрации мы приведем без фонового описания необычной ситуации.

9. *Когда все было готово, Ковалев поспешил тот же час одеться, взял извозчика и поехал прямо в кондитерскую. Входя, закричал он еще издали: "Мальчик, чашку шоколаду!" — а сам в ту же минуту к зеркалу: есть нос!* (Н. Гоголь. Нос).

10. *Я пулей во двор, засел в старом еще сухом малиннике и в слезы. Когда никто не видит слез, они льются ручьями, как роднички в лесу...* (А. Васильев. Зарницы).

11. *Прибегает Марта домой. И к комоду. И за новую кофточку. И к зеркалу* ("Известия", 17.12.67).

В подобных случаях крайне важную функцию выполняют сочинительные союзы: их элиминация может разрушить структуру и даже изменить смысл (ср. пример 11 со следующим: *Прибегает Марта домой. К комоду*).

Таким образом, если в одних случаях выявление смысла синтаксических конструкций с имплицитными компонентами предполагает обязательный учет их пре- и/или постпозитивных связей, то есть учет "межпредикативного" синтагматического взаимовлияния, то в других случаях, когда вербализованные компоненты безглагольного предложения обладают достаточной предсказующей силой, это не столь очевидно. Сказанное означает необходимость учитывать и внутреннюю организацию предикативной единицы. Следовательно, оба подхода: от текста к имманентной структуре и наоборот, — должны быть совмещены. Иными словами, квалификация конкретных языковых фактов должна проводиться с учетом и сведений, предоставляемых контекстом, т.е. с учетом того, что на осмысление словесно не названного значения влияют элементы соседних с безглагольным построений (в макроконтексте), и сведений, которые содержатся в компонентах самой безглагольной единицы (в микроконтексте).

Особая значимость внутренней организации синтаксических единиц уже осознана и учтена в концепции структурных схем предложения. Но, как известно, вопрос об их количестве и качественном составе и, в частности, вопрос об обязательных и факультативных компонентах структурных схем пока

что, к сожалению, решается лишь конвенционально. Для эллиптологии же вопрос о факультативных компонентах оказался принципиальным, поскольку однозначной идентификации смысла безглагольной структуры помогают не только обязательные, но и факультативные ее компоненты типа выделенных в следующих примерах (взяты из работы А. П. Сквородникова [1981]):

12. *Забыл я и про ветчинку, и про недопитую четвертинку в сейфе — бегом в особняк, к новому директору.*

13. *Старшая дочка сумела вырваться и — стремглав к маме, на ферму.*

По замечанию Г. А. Золотовой, описывающей конструкцию *Я ее метлой по талии*, “устойчивый комплекс именных форм определенной семантики (*кто кого чем по чему или во что*) ... и создает тот контекст, в котором “проявляется” значение глагола действия” [Золотова 1975: 113]. Лексико-морфологосинтаксическая валентность членов подобных устойчивых комплексов действительно способствует выявлению общего доминантного смысла. Семантическая и грамматическая взаимосвязь между эксплицируемыми и имплицирруемыми словоформами подтверждается в отношении как обязательных, так и факультативных компонентов безглагольной подмодели, поскольку лексико-морфологические параметры и тех, и других отражаются на степени “предсказуемости” смысла безглагольной структуры даже в случае ее изоляции от контекста. А это означает, что рассмотрение безглагольного предложения в качестве самостоятельного структурного типа не совсем беспочвенно.

Однако степень определенности семантики конструктивно обязательных членов далеко не всегда столь очевидна. Проведем небольшой лингвистический эксперимент: попытаемся выяснить, носителями какой семантики являются микроконтексты: *Шмель — в окно. Муравей — в окно. Кот — в окно.*

Прежде всего, только благодаря специфике лексического значения слов, находящихся в позиции субъекта, вполне предсказуемой оказывается и лексическая семантика, которая стоит за нулевым знаком: понятие “шмель” мы связываем в

первую очередь с понятиями “летать — лететь”, понятие “муравей” — с понятиями “ползать — ползти” и, соответственно, “кот” — с понятиями “прыгать — прыгнуть”. В то же время степень предсказуемости невербализованного предиката уменьшается, если субъектная словоформа называет человека:

14. — *Папа дома?*

— *Нет, он с утра в лес.*

— *На поезде?*

— *Нет, в наш (=соседний лес) пошел.*

Очевидно, что за комплексом словоформ *кто куда* стоит значение направления перемещения. Однако ответа на вопрос о том, куда же все-таки движется субъект — внутрь помещения или наружу? — изолированная от контекста имманентная структура не дает. Неясна и грамматическая сторона, а именно временные и видовые параметры (впрочем, это относится и к приведенному выше примеру Г. А. Золотовой). Между тем в конкретном тексте может оказаться значимой конкретная грамматическая и лексическая семантика, например то, что герой еще только “пойдет”, а не “побежал”, “ездил” или “летит” (см. соответствующие примеры в нашей статье [Щаднева 1990: 71–72]). Точный смысл выясняется лишь через макроконтекст. Это подтверждается и данными, полученными от иноязычных информантов [Щаднева 1991: 169].

Если исходить из положения о том, что синтаксис непосредственно соотносится с процессом мышления и с процессом общения, то безглагольная предикативная единица не может быть объяснена только на уровне предложения в силу своей проекции на связный текст. При ее квалификации необходимо учитывать как синтагматические отношения словоформ внутри безглагольной структуры, так и синтагматические отношения, в которые вступают ее компоненты в рамках более крупного синтактико-смыслового комплекса, снимающего альтернативность при определении и лексического, и грамматического значения имплицитного компонента. Таким образом, двусторонний анализ безглагольного предложения (и со стороны текста, и со стороны имманентной структуры) подтверждает мысль о неразрывной связи всех языковых уровней и об их теснейшем взаимодействии, что в свою очередь пред-

полагает определенное переосмысление некоторых достаточно устоявшихся за последние десятилетия положений, связанных с интересующим нас синтаксическим феноменом.

ЛИТЕРАТУРА

- Золотова Г. А. 1975. — К вопросу о неполных предложениях // Русский язык. Москва.
- Норман Б. Ю. 1994. — Грамматика говорящего. Санкт-Петербург.
- Онипенко Н. К. 1994 — Идея субъектной перспективы в русской грамматике // Русистика сегодня, № 3.
- Пешковский А. М. 1929. — Еще к вопросу о предмете синтаксиса // Русский язык в советской школе, № 2.
- Сковородников А. П. 1981. — Экспрессивные синтаксические конструкции современного русского литературного языка: Опыт системного исследования. Томск.
- Факторович А.Л. 1991. — Выражение смысловых различий посредством эллипсиса. Харьков.
- Щаднева В. П. 1990. — Самостоятельны ли безглагольные предложения? // Ученые записки Тартуского ун-та. Вып. 896. Тарту.
- Щаднева В. П. 1991. — Русские безглагольные предложения через призму другого языка // Ученые записки Тартуского ун-та. Вып. 932. Тарту.

NON-VERBAL SENTENCES FROM THE ASPECT OF INTER ACTION OF THE LANGUAGE LEVELS

S u m m a r y

The article considers the non-verbal sentences in Russian (*Шмель в окно; Муравей в окно; Кот в окно*), which are often interpreted as autonomous semantically.

The author of the article proves that qualification of similar facts must take into consideration a) information held in the components of the "most non-verbal units" (micro-context); b) information which shows the elements of neighbouring non-verbal structures of sentences (macro-context). The macrocontext namely cancels the alternation in the definition of lexical and morphological meanings of the implicit non-verbal

component. Moreover, in the conditions of a typical context (the author discovers two varieties of such a context) a non-verbal variant can acquire the connotation of intensity and expressivity.

The many-sided analysis of the non-verbal sentences confirms the idea of the close interaction between the language levels.

ПРОБЛЕМА РАЗГРАНИЧЕНИЯ МОДАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ

П. Эслон

1. Постановка проблемы

До сих пор в языкознании нет функционально-семантического описания поля модальности. Существующие классификации неоднородны, многоаспектны и отражают сложность самого явления модальности в языке. В них отсутствует единое понимание содержания обсуждаемого понятия — типы модальности выделяются не на едином смысловом основании, и при этом нарушаются основные правила логической операции деления понятий (В. Н. Бондаренко, Т. П. Ломтев, С. И. Небыкова, П. В. Колшанский и др.). Исследователи объединяют между собой языковые значения, несовместимые с точки зрения категориальных связей (см. указание на это [Ružička 1973] или хотя бы раскрытие понятия модальности у Т. П. Ломтева: модальность 1 — наличие в действительном и гипотетическом бытии в одном из возможных времен; модальность 2 — возможность; модальность 3 — необходимое в действительном или гипотетическом бытии: а) модальность уверенности, б) модальность нейтральности и т.д. — см. [Ломтев 1969]). К тому же несоответствие, которое наблюдается между выделяемыми традиционно модальными значениями и средствами их выражения, нельзя считать проявлением лингвистических парадоксов, как это полагают некоторые исследователи (напр., [Сабанеева 1980: 60]), а следует считать недостатком методологии описания объекта исследования.

Сложившаяся ситуация отражается прежде всего в многозначности и неадекватности употребляемой научной терминологии. Например, традиционное определение основных типов модальности дается на основе признака реальности/ирреальности, причем в содержании термина “ирреальность” объединяются значения возможного, должного и требуемого.

Вместе с тем А. А. Шахматов включает в “ирреальность” значения желаемого и условного (в смысле предполагаемого, возможного или невозможного) [Шахматов 1941: 484]; В. В. Виноградов — значения желательного, требуемого, недействительного и т.п. [Виноградов 1955: 405]; Н. Ю. Шведова — значения условного, долженствовательного, желательного и повелительного [Шведова 1967: 8] и т.д.

В рамках понятия ирреальности рассматриваются гипотетичность и потенциальность как противочлены реальности (П. Трост, В. Т. Володин, В. В. Хрычиков, В. Ф. Аскоченская, М. Кубик, Г. Г. Лебедева, В. Максимова и др.).

Таким образом, в понятие “ирреальность” включается разное содержание. Поэтому мы вправе задать вопрос, что же на самом деле входит в содержание понятий “реальность” и “ирреальность”?

Вторым признаком, который взят за основу определения типов модальности, является объективность/субъективность. С учетом названного признака строятся классификации модальностей как в работах логико-грамматического направления, так и в работах В. В. Виноградова и его последователей. Вместе с тем понятия “объективность” и “субъективность” истолковываются неоднозначно.

С одной стороны, признак объективности определяет модальность как категорию онтологическую, включающую значения действительности, возможности и необходимости, а признак субъективности соотносит модальность с индивидуальным восприятием, т.е. со сферой оценочного, эмоционального и волевого.

С другой стороны, наравне с объективной и субъективной модальностью мы говорим об объективной и субъективной возможности/невозможности, но термины “объективный, субъективный” при этом употребляем в разном смысле.

Поэтому, видимо, неправомерно исходить при рассмотрении вопросов модальности по-прежнему из уже сложившейся терминологии “в целях удобства” и “за неимением других, более точных терминов” [Ваулина 1988: 30]. Кроме того, сферы субъективного и объективного в языке, как и в действительности, всегда взаимосвязаны; категория модальности

представляет собой диалектическое единство объективного и субъективного.

В связи с вышеизложенным мы полагаем, что и признак объективности/субъективности не может считаться определяющим при установлении отдельных типов модальности.

Понятиями объективности/субъективности оперируют также в концепциях модальности, основанных на противопоставлении диктум/модус. Диктум понимается как предметная модальность (информация о действительности). В связи с этим говорится, в частности, о предметной модальности возможности/невозможности (см. [Беляева 1876; 1985; Пете 1970] и др.). Модус понимается как информация о субъективной (эмоционально-экспрессивной) интерпретации говорящим действительности. При таком подходе модальное значение возможности/невозможности, например, квалифицируется как значение онтологическое (признается его субъективно-объективная сущность), а модус выносится в модальную рамку (указывают на его субъективно-оценочную сущность) (см. [Степанов 1981; Васильев 1976] и др.). Отмечается, что модальные противопоставления не сводятся исключительно к дихотомии реальность / нереальность: они включают также триаду побудительность/предположительность/действительность [Беляева 1987: 23]. Такое представление модальных противопоставлений основывается на традиционном определении модальности как оценки соотнесенности содержания высказывания с действительностью с точки зрения говорящего. При этом модальная оценка сводится к трем основным видам:

(1) оценка способа существования связи между объектом действительности и приписываемым ему в акте предикации признаком;

(2) оценка достоверности сообщаемого в зависимости от степени познанными говорящим действительных отношений между объектом и признаком;

(3) оценка желательности осуществления связи между объектом и признаком [Беляева 1987: 24].

Приведенные примеры свидетельствуют об отсутствии в имеющихся описаниях модальности единого научно-понятийного аппарата, отвечающего содержанию описываемого объ-

екта. Налицо отсутствие общей методологической основы при изучении модальности. Г. А. Золотова отмечает, что “между ... субъектом познания и реальным объектом его познания как бы создается сеть... . Если исследователь воспринимает объект только через наложенную на него сеть и только благодаря ей, непосредственная связь между объектом и субъектом нарушается, сеть принятых представлений ... начинает загораживать объект от субъекта” [Золотова 1982: 18–19]. В целом имеется два пути, по которым движется исследовательская мысль.

Первый путь — обобщение результатов эмпирических исследований. Тут возможны, по крайней мере, две процедуры: или анализ всех семантических определений объекта исследования, данных в научной литературе, или анализ и синтез этих определений с целью поиска единого семантического основания, объединяющего все разносторонние определения объекта исследования (ср. опыт В. Г. Суходольского при изучении содержания понятия “речевая деятельность”: [Суходольский 1988]).

Второй путь — применение какой-нибудь иной методологической основы исследования языкового материала и теоретического осмысления результатов исследования. Такой общей основой могут служить отдельные положения и законы диалектической логики, применяемые в сочетании с функциональным подходом к исследованию языка. Философы, логики и лингвисты особо подчеркивали необходимость использования положений диалектической логики при изучении языковой системы и ее развития. В ряде случаев исследовательская практика демонстрирует успешность применения положений диалектической логики в языкознании: например, содержательное определение грамматических категорий М. А. Шелякиным, определение сущности функциональной стилистики А. Н. Васильевой, изучение категорий субъективного и объективного в языке Г. В. Колшанским. Благодаря применению метода диалектической логики Н. Л. Мышкиной дано определение семантической зоны модальности необходимости в русском языке [Мышкина 1982]. Интерес представляет также опыт построения микрополей возможности и вынужденности,

осуществленный Е. И. Беляевой на материале английского и русского языков [Беляева 1976; 1985; 1987].

С учетом отдельных положений диалектической логики (взаимоисключенность и взаимообусловленность противоположностей, объективная необходимость связи между противоположностями, опосредованность противоположностей промежуточными звеньями) мы пытаемся определить понятийно-языковую основу и смысловую доминанту отдельных типов модальностей, их инвариантное и частные значения. При определении понятийно-языковой основы и смысловой доминанты принципиально важно отграничить понятие (напр., *действительность/недействительность, возможность/невозможность, необходимость/случайность*) от соответствующих категорий. Это существенно в исследовательских целях, поскольку непосредственно отражает действительность только понятие, значение же слова устанавливается человеком, а не возникает естественным путем. В понятии действительность отражается обобщенно в языковых семантических дифференциальных признаках, категория же выразит **отношения (связи)** данных семантических признаков, мыслимых в их целостности, обобщенно. Такое разграничение понятий и категорий находится в соответствии с их философской трактовкой, а применение диалектики категорий в раскрытии сущности понятий через изучение связей между семантическими дифференциальными признаками слов — это один из возможных путей выявления понятийно-языковой основы (инварианта и системы частных значений) исследуемого объекта. Эта семантическая основа может быть интерпретирована как семантическая типология объекта исследования.

Так, в понятии *возможность/невозможность* действительность отражается обобщенно в языковых семантических дифференциальных признаках, категория же возможности/невозможности выражает отношения (связи) данных семантических признаков, мыслимых обобщенно.

Далее, при выявлении инвариантного и частных значений возможности/невозможности понятие *возможность* рассматривается в диалектической взаимосвязи с понятием *действительности*, а понятие *необходимость* рассматривается во

взаимосвязи с понятием *случайности*. Если же связать между собой понятия *возможность* и *необходимость* вне их отношения к *действительности* и *случайности*, то объект исследования не будет познан, потому что в категориях диалектики возможность и необходимость противопоставляются соответственно действительности и случайности. Кроме того, в системе категорий диалектики как ступеней познания сущности явлений необходимость и случайность характеризуют **отношения (связи)**, а возможность и действительность — **сущность этих отношений**. Другими словами, возможность и действительность представляют собой категории содержательные, в то время как необходимость и случайность являются условием, причиной, внешним фактором, обуславливающим функционирование этих содержательных категорий. К тому же, между явлениями объективной действительности существует необходимая, всеобщая, закономерная **связь**, что находит свое отражение в логике понятий и категорий, см.: [Категории 1987: 52]. Аналогично этот вопрос рассматривается в модальной логике.

Ввиду вышеизложенного мы считаем необоснованными концепции модальности, построенные на противопоставлении категорий возможности и необходимости, и предлагаем изучать **все** модальные отношения на базе диалектики возможного и действительного. Поэтому первичное деление модальности производится по отношению к противопоставлению действительность/недействительность, которое включает в себя противопоставление реальность/ирреальность, однако не исчерпывается им. Признак действительности/ недействительности характеризует сообщаемое не только в плане модальной оценки реальности/нереальности, но и реализуемости/нереализуемости сообщаемого. В данном случае мы имеем дело не просто с разными уровнями глубины познания, как отмечает В. В. Мартынов [Мартынов 1984], а с качественно разными языковыми фактами. Признак реальности/нереальности акцентирует противоположные стороны действительности и недействительности, в то время как признак реализуемости/нереализуемости подчеркивает диалектическое единство действительности и недействительности. Поскольку ре-

альность и реализуемость характеризуют в совокупности возможность сообщаемого, то понятие *возможность* является опосредующим членом противопоставления действительность/недействительность.

С другой стороны, мы опираемся на длительную традицию разработки семантических полей, согласно которой объективная реальность отражается в человеческом сознании именно в понятиях и языковых значениях: действительность опосредована для нас языком. “В реализации данного отражения существенную роль играет языковая семантическая интерпретация понятийных категорий, т.е. способ их языкового представления — представления в языковых значениях” [Бондарко 1978: 88–89]. Ведь логическое и семантическое (языковое) существует всегда в неразрывном единстве. Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что строгое разграничение универсально-логического и лингвистического во многом условно и не соответствует сущности описываемого объекта.

Таким образом, при разработке семантической типологии модальности мы предлагаем применять основные положения диалектической логики в качестве способа описания и теоретического осмысления объекта исследования.

При определении понятия *модальность* необходимо иметь в виду, что модальность в языке — категория интерпретационная. Поэтому вопросы, связанные с ее квалификацией, так или иначе будут соотнесены с речевой прагматикой, что дало основание считать модальность явлением, охватывающим грамматику и прагматику. Естественно, что при определении семантической зоны и типологии модальных значений нельзя не учитывать фактор взаимосвязанности, взаимообусловленности модальности и речевой прагматики.

Наконец, возникает чисто исследовательская проблема — вопрос о единице анализа. В лингвистике принято обращаться к предложению, реже — к модальности предиката. Вместе с тем совершенно очевидно, что предложение как единица языка не может обеспечить адекватную интерпретацию модальных значений. Модальность возникает на уровне акта речи, текста и поэтому в ее интерпретации участвуют речевая ситуация и дискурс (контекст). Вне этих факторов адекватная

интерпретация модальностей невозможна. Именно поэтому исследователи обращались к изучению тех типов контекстов, в которых употребляется тот или иной модальный квантор (типа “можно”, “надо”, “нужно”) [Туровская 1995], а сама единица анализа равнялась сложному синтаксическому целому. Вместе с тем известно, что познание действительности происходит на разных уровнях глубины: познание действия или состояния, с одной стороны, и познание потенциальной его необходимости, с другой. Познание действия, состояния сопряжено с диалектикой возможного и действительного, а познание их потенциальной необходимости — с диалектикой необходимого и случайного.

Эти два уровня познания “находятся в имплицитном отношении, которое характеризуется асимметричностью” [Мартынов 1984: 52]. Нам представляется, что асимметричность связана с тем, что в аспекте модальности возможность и действительность являются сущностными, содержательными характеристиками (“синтагматика” модальности), дающими оценку реальности/нереальности и реализуемости/нереализуемости чего-либо. Диалектика же необходимого и случайного определяет степень реализуемости/нереализуемости этих содержательных характеристик — что-л. оценивается как необходимо, желательно или возможно реализуемое/нереализуемое (“парадигматика” модальности). В результате возможно представление модальности как системы отношений (связей) между содержательными понятиями, а возможность/действительность чего-л. и необходимость возможности/действительности чего-л. являются теми координатами, на пересечении которых описывается семантическое поле модальности и создается ее типология.

Существует закономерность, согласно которой для возникновения модальности всегда необходимо, чтобы имелись средства, обозначающие действие или состояние. Обратное неверно (см. [Мартынов 1984: 52]). В связи с этим мы полагаем, что **объектом** анализа модальностей должно быть или действие, или состояние, а **единицей** анализа — событие как носитель идеи действия, состояния. Основные концепты

события — субъект, предикат и объект; фон события — контекст в широком смысле слова.

В связи с конкретизацией объекта и единицы анализа конкретизируется и само понятие модальности: модальность — это оценка события (уже, действия, состояния) как возможного или действительного с точки зрения субъекта или же с точки зрения говорящего/пишущего лица.

2. Опыт разработки семантического поля модальности

2.1. Материалы и методы

При разработке семантического поля модальности в качестве материала были использованы словарные определения лексических единиц с модальными кванторами *возм-, жел-* и *необход-*, извлеченные из 17-томного “Словаря современного русского литературного языка” АН СССР. По словарю синонимов (“Словарь синонимов русского языка” под редакцией А. П. Евгеньевой) к ним были подобраны синонимические ряды.

Общее направление работы определяется движением исследовательской мысли от анализа к теоретическому обобщению и синтезу результатов.

Для выявления семантической близости, оторванности или же семантического несоответствия отобранных слов был применен метод тавтологического круга между компонентами значения одного слова и всех слов в синонимическом ряду. Чем теснее круг между семантическими определениями разных слов, тем ближе эти слова семантически друг другу, тем более абстрактна их семантика. Поэтому степень конкретности/абстрактности значения слова располагает все слова синонимического ряда на шкале инвариантное/частные значения. При этом прослеживается следующая закономерность: чем абстрактнее значение слова, тем ближе оно к выполнению функции инварианта семантического поля (микрополя) модальности.

С целью выявления понятийно-языковой основы семантического поля модальности к словарным определениям были

применены основные положения и законы диалектической логики. Это означает, что для поиска семантической доминанты поля необходимо искать связующие звенья между противоположностями в определениях слов из синонимических рядов с модальными кванторами *возм-*, *жел-* и *необход-*. Те компоненты значения, которые способны вести себя как нейтрализующее противоположности звено, претендуют на статус семантической доминанты поля модальности и соотносимы с верхней частью на шкале абстрактности/конкретности. За основу теоретических обобщений принимается доказанное выше (см. раздел 1) положение о наличии “синтагматики” модальности, построенной на оценке реальности/нереальности и реализуемости/нереализуемости действия-состояния, и положение о наличии “парадигматики” модальности, мотивированной оценкой степени реализуемости/нереализуемости действия-состояния, когда само действие-состояние оценивается как необходимо, желательно или возможно реализуемое/нереализуемое. При таком подходе построение поля модальности основывается на диалектике возможности/действительности чего-либо, с одной стороны, и на оценке степени необходимости возможности/действительности чего-либо, с другой. Степень необходимости понимается в плане разграничения понятий детерминированности и обусловленности. Так, обусловленность указывает на такую связь между явлениями, которая вызвана к жизни рядом условий — как объективных, так и субъективных. Между условием и реальностью/нереальностью — реализуемостью/нереализуемостью действия-состояния нет обязательной предсказующей связи. Вместе с тем при детерминированности мы имеем дело с обязательной предсказующей связью, вызванной к жизни объективными законами развития (см., напр., [Карабеков 1985: 35–44]).

Типология модальности строится на пересечении двух осей — парадигматической и синтагматической. В результате выделяются универсальные типы модальности, содержание и наполнение которых будет известным образом варьироваться в зависимости от того языка, на материале которого проводится выявление семантического поля модальности. В на-

стоящем исследовании опыт разработки поля модальности осуществлен на материале русского языка.

2.2. Парадигматика и синтагматика модальности

Универсальные типы модальности

Парадигматическая ось

Признаки, которые дифференцируют типы модальности по степени необходимости чего-либо:

а) в плане модальной оценки реализуемости действия-состояния —

- 1) что-либо желательно реализуемо,
- 2) что-либо возможно реализуемо,
- 3) что-либо необходимо реализуемо
 - 3.1) в силу объективной обусловленности и
 - 3.2) в силу детерминированности;

б) в плане модальной оценки необходимости действия-состояния —

- 1) что-либо необходимо в силу разного рода табу,
- 2) что-либо необходимо в силу моральных и этических норм поведения и законодательства,
- 3) что-либо необходимо в силу того, что такова индивидуальная воля субъекта, его желание.

При модальной оценке реализуемости действия-состояния и необходимости действия-состояния отдельно рассматриваются 1) акты речи, выражающие чью-либо волю, и 2) акты речи, не выражающие чьей-либо воли. Разграничение актов речи производится также на основе соотнесенности оценки или с говорящим, или с субъектом действия-состояния, или с говорящим, являющимся одновременно и субъектом действия-состояния, а также с посторонним наблюдателем, чье мнение находит выражение в дискурсе.

Модальная оценка реализуемости действия-состояния пересекается с модальной оценкой необходимости действия-состояния, однако не покрывается ею. Первая характеризует семантику модальности, вторая — прагматику модальности.

Синтагматическая ось

I. Модальная оценка реализуемости действия-состояния — это оценка его возможности/действительности в рамках приведенных выше парадигматических признаков. Поскольку на основе предложенной выше методологии и методики исследования (см. раздел 1) нами уже разработана типология модальности возможности, то в дальнейшем изложении мы не будем демонстрировать, как это осуществлено, а просто используем результаты исследования [Эслон 1989: 19–32].

Так, в речевых актах, не выражающих чьей-либо воли, **признак 3. 2** соотносится с двумя типами возможности — с реальной и с тендентивной возможностью, когда реализуемость, а значит и реальность чего-либо детерминированы общими закономерностями развития природы и общества.

Признак 3. 1 соотносится также с двумя типами возможности — с объективно обусловленной и с пассивной возможностью. Объективно обусловленная возможность чего-либо определяется наличием условий (как субъективного, так и объективного характера), необходимых для реализации и реализуемости чего-либо; пассивная возможность же определяется как способность кого/чего-либо к осуществлению чего-либо.

Признак 2 соотносится с неопределенной возможностью, которая основывается: на догадке о том, что может быть; на незнании, неизвестности чего-либо или на приблизительности сообщаемого.

Признак 1 соотносится с активной возможностью, определяемой как готовность осуществить какие-то умения, способности. В данном случае акт речи содержит имплицитное выражение воли; воля является фактором, обуславливающим реализацию тех способностей, которые потенциально содержатся в субъекте. В этом отношении данный тип модальности возможности соотносится с типом объективно обусловленной возможности, однако лишь с тем отличием, что имплицитно содержит обусловленность осуществления своих способностей волей говорящего/пишущего субъекта. С другой стороны, активная возможность соотносится с пассивной возможностью, отличаясь от последней наличием компонента готов-

ности реализовать способности, в то время как пассивная возможность указывает на наличие/отсутствие чьей-либо потенциальной способности к чему-либо.

II. В плане модальной оценки необходимости действия-состояния рассматриваются речевые акты, выражающие чью-либо волю. Такие речевые акты называются побудительными, а понятие воли соотносится с понятием намерения, что сближает волю со сферами желания и возможности. Это наглядно прослеживается и в тех словарных опеределениях, посредством которых данные слова толкуются в словарях.

Ср.: **воля** — 1 желание, 2 хотение (желание), 2.1 стремление — 2.1.1 влечение /связь с тендентивной возможностью/, 2.1.2 тяготение (влечение) — 2.1.2.2 потребность /связь с необходимостью/, 2.1.3 стремление.

Желание — 1 стремление (влечение) /связь с тендентивной возможностью и с выражением воли/, 2 воля, 3. просьба (пожелание) — 3.1 призыв (просьба) — 3.1.1 требование (категорическое желание и настоятельная просьба) — 3.1.1.1 нужда /связь с необходимостью/ — 3.1.1.1.2 потребность /связь с необходимостью/, 3.1.1.2 правило, норма поведения /связь с необходимостью/, 4 любовное влечение.

Намерение — 1 предположение — 1.1 (мысленное) допущение (предположение) /связь с реальной и неопределенной возможностью/ — 1.1.1 позволение, разрешение /связь с выражением воли/, 2 план (намерение) и т.д.

Поскольку в нашем распоряжении уже имеется монографическое исследование Й. Крекича [Крекич 1993], в котором на сходных с нашими теоретических основаниях разработана прагматическая типология побудительных речевых актов, то в дальнейшем изложении мы используем результаты этого исследования. Напомним лишь, что Й. Крекич опирается на философскую теорию речевых актов, применив ее к изучению языка. При этом автор исходит из диалектики семантических определений слов и разграничивает в них семантический (vs модальный) и прагматический компоненты значения.

Так, **признак 3** соотносится с разными степенями выражения необходимости действия-состояния: 1) приглашение-просьба и поручение, реализующие какие-то внутренние субъ-

ективные нужды говорящего; 2) приглашение-предложение, апеллирующее к нуждам адресата; 3) предложение, в котором отождествляются нужды говорящего и адресата; 4) совет, данный говорящим с целью помочь адресату; 5) предупреждение, вызванное к жизни желанием говорящего обратить усиленное внимание адресата на какой-либо факт; 6) предостережение, указывающее на предполагаемый, возможный нежелательный результат действия-состояния; 7) рекомендация, или мягкая форма предписания, указывающая на то, что говорящий или адресат имеют свободу выбора из числа предложенных им возможностей.

Приведенные волевые акты речи рассмотрены в порядке убывания степени необходимости выполнить действие. В них на основную волевою направленность высказывания налагается модальный компонент значения. В первом, во втором и в третьем случаях — это модальность необходимости; в четвертом и пятом случаях — модальность желания с оттенком возможности/невозможности; в шестом и седьмом случаях — модальность возможности/невозможности с оттенком желательности того или иного действия-состояния.

Признак 2 соотносится также с выражением разных степеней необходимости действия-состояния. Ниже такие волевые акты приводятся в порядке усиления необходимости их выполнения.

Так, 1) требование указывает на убежденность говорящего в своем праве настаивать на выполнении того, что ему хочется; 2) призыв призывает адресата вести себя согласно моральным и этическим нормам, т.е. вести себя должным образом; 3) поручение возлагает на адресата обязанность вести себя согласно общественным требованиям; 4) лозунг призывает людей к определенной деятельности, являясь выражением общественно-политических требований; 5) безусловное разрешение, основанное на беспрекословном подчинении власти и утвержденное высшей инстанцией; 6) приказание выполнить действие ввиду общественной необходимости этого поступка; 7) запрещение, выражающее отрицательный приказ или отрицательное требование.

Таким образом, перед нами типология модальности, построенная на едином основании и с учетом основных положений диалектической логики. При этом в качестве материала был использован русский язык. Вместе с тем интересно было бы проследить, будут ли различаться модальные типологии, построенные на материале разных языков. Или же перед нами все-таки универсальная модальная типология?

ЛИТЕРАТУРА

- Беляева Е. И. 1976. — Предметная модальность невозможности в русском языке // Материалы по русско-славянскому языкознанию. Воронеж.
- Беляева Е. И. 1985. — Функционально-семантические поля модальности в английском и русском языках. Воронеж.
- Беляева Е. И. 1987. — Речевой аспект категории модальности // Функционирование языковых единиц в речи и в тексте. Воронеж.
- Бондарко А. В. 1978. — Грамматическое значение и смысл. Ленинград.
- Ваулина С. С. 1978. — Выражение возможности в модальных конструкциях с прямым пассивным субъектом // Материалы по русско-славянскому языкознанию. Воронеж.
- Ваулина С. С. 1988. — Эволюция средств выражения модальности в русском языке (XI–XVII вв.). Ленинград.
- Васильев Л. М. 1976. — Модальные глаголы русского языка в их отношении к структуре предложения // Синтаксис и интонация. Уфа.
- Виноградов В. В. 1955. — Основные вопросы синтаксиса предложения // Вопросы грамматического строя. Москва.
- Золотова Г. А. 1982. — Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. Москва.
- Карабеков К. Ч. 1985. — Соотношение принципа обусловленности с принципами детерминизма и причинности // Вопросы диалектической логики: Принципы и формы мышления. Москва.
- Категории 1987. — Категории “закон” и “хаос”. Киев.
- Крекич Й. 1993. — Побудительные перформативные высказывания. Szeged.
- Ломтев Т. П. 1969. — Предложение и его грамматические категории. Москва.

- Мартынов В. В. 1984. — Универсальный семантический код: УСК-3. Минск.
- Мышкина Н. Л. 1982. — Значения необходимости и способы передачи этих значений в оригинальных и переводных текстах немецкой и русской научной речи: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Ленинград.
- Пете И. 1970. — Типы синтаксической модальности в русском языке // *Studia Slavica Acad. Scient. Hungaricae*. Т. XVI. № 3–4.
- Ružička 1973. — Ružička R. Über die Einheitlichkeit der Modalität // *Otázky slovanské syntaxe III*. Brno.
- Сабанеева М. К. 1980. — О содержании понятия “модальность” // Проблемы синтаксиса простого предложения. Ленинград.
- Степанов Ю. С. 1981. — Имена, предикаты, предложения: Семиотическая грамматика. Москва.
- Суходольский В. Г. 1988. — Основы психологической теории деятельности. Ленинград.
- Туровская С. Н. 1995. — О критериях семантической типологии высказываний с модальным значением необходимости // *Функционирование языковых единиц в тексте*. Таллинн.
- Шахматов А. А. 1954. — Синтаксис русского языка. Ленинград.
- Шведова Н. Ю. 1967. — Парадигматика простого предложения в современном русском языке // *Русский язык: Грамматические исследования*. Москва.
- Эслон П. 1989. — Вопросы типологии и средств выражения модальности возможности/невозможности в русском языке. Таллинн.

REGARDING THE PROBLEM OF SPECIFYING THE MODAL MEANINGS

S u m m a r y

Due to the fact that no semantic typology of modality is available, the goal of the present paper is to suggest one possible way of solving that problem. Semantic typology of modality is deduced as arising in the junction where paradigmatics and syntagmatics of semantic features converge.